



Мне вчера сказалося, и я оброс уже без всякой необходимости и лицом, и лишними двумя руками, что всё, но ничего, и что нам позволено работать без всякой надобности и надежды, и не менее тем (я договаривал за говорящим, как если бы доедал за ним обед беседы), мы можем работать и дальше — как входная лампа в коридоре (мое конфиденциальное сравнение), и действительно — сапоги... подумал тогда и теперь думаю, что это ловушка и нас все-таки убьют. Только как и за что — еще никому не известно, а впрочем — кофейня, и пока я здесь, мне не несут чая, и я говорю так, как если бы. Дальнейшее — мрак, но и он не то, что я думаю, и он — ожидание, не менее беспочвенное. Я бы взял черный, как маска, свет у холодного гладкого стола,

за которым сижу, и сказал бы, что подобное вполне сносно отражает мое забытое лицо, но не отразит глаз, если за них все-рез возьмется опытный ювелир, знаменитый вещами, равных которым я никогда не видел. Еще возможна бывает змея-медянка, зримая в траве, но разве смотришь ей вслед, когда висит в голове небо, и сапоги по размеру друг другу, и свет заимствован из коридорного окна, где я стою, и понимаю, что нечто не забыто, а никогда не было известно, а это я еще даже не выходил из комнаты. Б — всегда рядом, как родинка назначения, орден за заслуги перед орденами — теми, что предшествуют, и идут вслед тому выбранному, который и есть одиночество. Соседней дорогой, я шел сегодня домой, чтобы не поймать себя на привычности и не

войти с собой в столкновение в тех местах, где особенно темно и не разглядеть дорожных знаков отличия, я видел свежую краску на новых скамейках, а также двух или трех людей — взаимных незнакомцев, но от меня равноудалены так же, как если бы были супругами. Я в очередной раз подумал о том, как чуждость сочетается чуждостью, как все это ни на шаг не приближает меня ни к тому, ни к другому, и еще — о старости, главном источнике новизны для меня в последние годы. Если я протягиваю руку к пальто и теряюсь, как у Леонтьева, в поисках шапки, то кто, кроме зеркала, скажет мне о том, что она на мне — и оно то же, и так же пахнет бемолью, как прошлый год, от которого осталась, как заколка, звук трубы, и я выхожу всегда посередине представления, до того, как взойдет орган, и все будет забыто. Так хорош вечер, когда ты медлишь в прихожей перед тем, как выйти на свежую приветливую улицу, и все уже в ней, как искомое, заключено, и ты одет по погоде случая. Но что тогда — взлом, хозяйский жест медвежатника, знающего чужое дело, и то, что бежать придется через окно, о котором лишь то известно, что возле него цветок, что, по правде, настолько же характерно для квартиры, насколько характерна для знака мертвенная его бледность (которая трижды возвращается в дом отчий, отчего дома все слуги и родители решают поставить ребром вопрос о бледности (гостя), и я уйду), и что тогда — побег? Я слышу этот поворот булавок, и максимальное ожидание поднимается во мне волной готовности, однако это заходит Нэлли — спросить, скоро ли я присоединюсь к ней и вам обоим, которых я тогда знал немногим хуже, чем сейчас. Я ответил ей тогда, что научен опытом печали и что тем не менее присоединюсь к вам. Это звучало тогда почти так же, как сейчас, и только в зеркале не отражается бытие прошлого, что сразу и отражает его зеркальность и разводит ее в тумане будущего — таком же подозреваемом, как подающий тебе бокал, на дне которого — осадок, и все, что над — только его предтеча, и ты берешь прибор, чтобы размешать. Что такое на самом деле

побег из родного дома, как не отказ претерпевать все его переменные точки — может быть, дальняя завтра прикипит с нежностью, и не отодрать, как если бы и та, как эта, была морщиной. Но — успеть отказать в соприродности, отказать самому, сказать, что не было, вот задача задач. Себя разоблечь в равнодушии, как если бы было что-то иное, чем можно было бы вполне увлечься, но и там найдет тебя то непризнанное, что даже не ищет тебя, но тобой находится. С тех пор (незапамятных) только внутрь себя растет речь — как растут мертвые и само забвение.

Вы уже говорили... в том смысле, что я помню. Вы говорили о том, как вошли в квартиру и спросили себя, что было вами забыто — и ничего мне не ответили, хотя это был мой вопрос, мой... оставьте мне хотя бы вопросы (список оных прилагается к ученической повседневности, и, обращенный ко мне затылком, предполагает молчание, и спасение — в считанной сороке секунды, держащей во рту часы с уверенностью маркера, или запросто — вертикальный час дня, затопленный апрель с остроухой верхушкой птиц) — я задался вопросом, и он приписывает меня теперь к любой поверхности дневных ухищрений, норвящих вытащить из забытых карманов всё то, до чего не, но когда и того нет... чем бывает жив день, взшедший над мертвыми? Наблюдение обещает участие. Но не сегодня, а вечером — когда казнимые прогорят и зола разовьется.

Макс, зачем вам тогда вопросы, если вы довольствуетесь этими риторическими пожизненными заключениями (в некоторых странах приговоренным к пожизненному даруется бессмертие), я прав, когда сомневаюсь в вашей способности поставить вопрос ровно? Я говорил о том, что ничего не было мною забыто в момент отправления из дома — тогда, давно, и с чего бы мне, впрочем, помнить те неотличимые дни счастья, слипшиеся теперь в одном сладком бреду, как мотыльки? И главное — это расстояние протянутой тайны, связывающей их так, как не связала бы явь — дистанция сна, пересказанного мимоходом, мимоходом же прекращенного, перекрашенного в цвета

цветов. Ошибкой ли будет ждать чего-то еще? Дополнительного света — скажем, коридорной лампы, полуоставленной в покоях дня, или иной мысли, растворившей окно не за светом, но — за птицей, в перевалку перешагивающей окно и минующей мысль. Как удастся ей это минование — в такой стройности, какая дается только отдалением (только медленным сворачиванием деталей, странствием в поисках лица)?

Вы ли не говорили мне, что не отличите вороны от сороки? Что отдаленная разница точнее приблизительной, врезающейся в упор. Это уже не вопрос, потому как — что делать с бардаком, когда приходится держать в голове расположение предметов? Было ли когда-нибудь так, чтобы они все стояли на их местах? Их перестановка бесследна, а карта рисует какие-то иные края — ее пути ходят на морщины составленного в редакторе человека — красивого, как никогда. Вообще, мало что на свете есть подобного нигде. В нее переименовывается все, чему не достается, и она остается, так или иначе, следующей модой восприятия — что она чувствует, лишенная лохмотьев лиственниц, про которые вы тоже говорили, как они пронзительно обнажены (в вашем воображении) — как никогда.

Как сейчас? В этом сочетании звуков уже самом звучит чай — правда, речь о другом, а именно — о его прозрачных листьях, как если бы было при этом не то, и не о том, а по ту сторону шла речь, но ниоткуда больше, кроме как сквозь эти пойманные руки, протянутые земле. Такая себе печать печати (обозначение брака), я узнаю это, но ударения молчат, как если бы медленно красили белой краской твое горизонтальное — лежбище бога, шов ровный, корабль потонул. Как уют, говорят. Гладкая ведь поверхность — море, и только. Труднее всего создать из ничего простоту, освободить ее от тяжестей кажущегося и сказавшегося на том, что вне нее действительно, и множится, удаляясь от нее в стремлении ее достигнуть. Вот возмущение этой сложностью и тяжестью приподнимает меня над небом (просто слегка ослабела нить горизонта,

ничего), а вот я уже стыжусь этого возмущения, и меня переполняет жалость к этой сложности — как бывает в часы перелета, когда оставил землю, и она в памяти так разнобразна, что чудом помещается в горсти. Один тогда способ вернуть себе окружившее небо — злость на то, что успело просочиться сквозь твои пальцы еще до того, как ты оставил все, к чему имеешь отношение. Как — и кому — все это сказать и о чем? О том, что уже не знаешь, к кому из двоих обратиться за прощением — за простотой или за сложностью? Сложность — воровство, но простота хуже. Недавно откопал в пейзаже сороку, прилагающую к воронке гнезда чей-то опавший орден, и мое зрение попало само в сто ловушек осени — пряным медведем, вломившимся в сто ее домов. Таким и выглядит монотонный пряник, высушенной мной на кафедральных кухнях, фамильярных поверхностях автоматов, предложенных развернутым затылком.

Я помню, как вы однажды во время лекции вылезли прямо в окно. Это воспоминание должно подтвердить мое присутствие на ваших лекциях — хотя бы одно из них. Ваша речь все менее отчетливо выделялась на фоне ничем не перебиваемого города (который и есть — звук, за которым), и все начали доставать пособие за пособием, и только я знал, что вы идете домой — только мне было известно, что на журнальном столе у вас выпуклая пепельница, лишенная завершительных черт. Ни одно пособие не помогло им на вашем экзамене, и мне тоже не помогает наше с вами знакомство — его всегда недостаточно, чтобы я смог ответить. Но, может быть, кому-то другому я мог бы ответить о вас?

Кто бы вас спросил, извините? Кому я могу быть интересен? Дело не во мне, и не в вас, и не в Артуре, и не в Нэлли (архив исчерпан), но, может быть, в том, кто задает вопросительную интонацию всему, что казалось нам утвержденным. Это внутри него помещен огонь вопроса, сжигающий все, что попадает в него. Ощущает ли он тщетность горения? Не думаю. Ведь не в вопросе дело, а в нем — в его угольной рамке, его огра-

ненным достоинстве, широте его взглядов. Теперь я могу сказать, почему я ушел тогда с концерта: орган напомнил мне о камине, и во весь рост выросшее сравнение показало мне в свернутом виде все, что меня когда-то касалось, и чего я уже не коснусь. Выглядело это так, будто по плечу меня потрепал человек, знакомством которого я бы пренебрег, хотя на самом деле с тем человеком у меня сносные отношения взаимного безразличия (в университете нас многие даже путают), и он, я уверен, потрепал меня потому лишь, что был уверен — в тяжелеющей гуще разносторонних зевак я узнал его.

С этим засвеченным фантиком уже ничего не сделать — он не желает сгорать в уголках собственного блеска, и его остается только растянуть до той самой бесконечности, про которую говорят, что она — во мгновении, единичном сокрытии глаз, и если оставить их полуоткрытыми, как дверь в спальню или прихожую, то она может уйти туда (или оттуда). Мне казалось в детстве, что взрослые гости с особенной тщательностью берегут меня по ту сторону полуоткрытой двери — в самих складках одежды, обозначающих перебиваемую тень, отчего она никогда не может произнести своей выученной фразы, что ничего не меняет в конечном счете (ибо фраза придумана не ею), но все ставит на его места, на том оно и держится, на недосказанности. Верите или нет, но нам с вами в детстве мешала и помогала спать одна и та же луна, но стоит сцене усложниться, как мы выясним, что разная тень пугала и успокаивала нас во время своего шевеления во сне. Стоит придраться к треснувшему, как яичная скорлупа, потолку, и выяснится, что и этого мало, и надобно предполагать длительное подобие, которое лишь поутру оказывается завершено. Все хитрость лишь в том, чтобы чуточку перебороть в бодрствовании сказочника — только это оказывается невозможным: стоит, подобно сомкнутому в молитве дверям, раздаться сопению, как в ход вступают окружающие образы предметов, изобличающие речь сказочника в подлинности. С раннего детства я выучил неразличимость птиц: не под-

няться этому авианосцу ни на какую высоту, как некогда поезду не удавалось доехать до следующей идентичной станции, потому что все забегали и забегали в него провожатые. С каждым провожатым пассажиров становилось все больше, и только я видел надо всем этим небо — в отсутствии окна, и оно являло мне нечто иное, подобное примерности платья, удвоенного в примерочной до подходящей единичному случаю формы. Как она узнавала, что платье ей не подходит? Не иначе как женская интуиция. Она выходила из примерочной, смеясь и глядя на меня, как бы в новом платье не узнавая — что со мной успело произойти за пять (пятнадцать) минут в открытом мире, пока она исчезала и возрождалась в примерочной?

Вы настаиваете на этом слове — примерочная? Она для меня ассоциируется со светлеющим уравнением, не способным до конца утвердиться в своей дифференциальности. Где причина, ставшая зеркалом? Не удивляйтесь тому, что оно выплыло вне вашей «примерочной» — я предупредил вас о ненадежности, о неточности приведенного вами. Между тем у вас на галстук галстук.

Между галстуками? Все кажется ведь, что между ними — нагота, обнародованная для расстрела. Сколько фамильярности в этом представлении, что у человека есть сердце, которое можно остановить, но оно всегда подтверждается. Одно спасает (от чего?) — мне кажется, что пуля и голова все же являются решениями разных проблем, а не одной и той же. Тем не менее проблемы эти пересекаются... а впрочем, не является ли нам зрение предупреждающей ловкостью, застывшей на высоте памяти, забывшим о предупреждении (не его ведь оно касается), выпавшим из головы? Темнеет, видите? Впрочем, я прочитал где-то, что ночь — это только смена дневного света ночным. Не уверен, правда — может быть, я просто не сумел в темноте разглядеть точный смысл фразы. Это прилагается и к слову о наготе, которая в эротическом смысле — ночь, а вовсе не та снежная белизна, которой обита плоть приговоренного к обморожению. Как внутри этого зарождается

отрицание белизны белизной, как синева рук отрекается от небесной синевы — это тема для отдельного отдела, занимающегося вопросом фотографической выдержки и памяти. Или, если человек полностью сливается с фетишем (который один и выживает в морозах, когда сигнальные отношения между кораблем и уснувшим городом веселят маячного зрителя), возникает спотыкание — взгляда, но не танка, профилем бороздящего свернутое в конверт время. Все годы, пока идет письмо, сжаты в нем на манер сомкнутых рук, но в глазок не видно — два ли это человека или один изображает замочек, нам предоставляя скважину. Значит ли это, что мы — второй, что кто-то еще со мною в камере занимает время — и место — тем, что продолжает молчать, не выдавая подробности своей частной жизни?

Если бы вы знали, какое в той осени было молчание! Как мне передать его без того, чтобы не впасть в иное — в молчание, например, зимы, когда снег подает хриплый голос — как бы чудак, на томном собрании отметивший некую сугубую частность, неуместную в этом молочном томлении, даже когда специальные люди задернули от пущего солнца шторы и вышли за двери (смеяться). Только источник меркнет — свет остается (светом?). Может быть, замечание и дельное, но относится к тем, другим, не нуждающимся в замечании. Достойно ли я тогда выглядел, лишенный голоса, когда проснулся, осознав, что рядом кто-то еще — неподдельный, как сама смерть, сон, пробудивший меня в согласованное пространство, навсегда утратившее свойство быть моим — но еще стояла в глубине стола полупрозрачная ложка, полупроглоченная стаканом, и уже остывал чай стыда, и я все не мог вспомнить всего того, что теперь само стало моей памятью — сказанных накануне слов, в которых не было и тени прощания, и только перед лицом прошлого, открытым мне, как лицо самой смерти, я могу зачитать этот список примет (скользящая вдоль шелка неостановимая коряга, выглянувшая со дна без всякой связи с теми деталями, которые не нарочно сокрыты от глаз) — короткий

список примет, по которым узнается спина уходящего человека, чьего лица как будто и не помнишь. Связанные любовью слова стали для меня местами паломничества — к подобным камням приходят за советами люди (жена, сын, турист), душе полагается перебирать их в лучезарном рту (приятный аналог сизифовых потуг) — и перепоручить их произнесение чему-то, предназначенному услышать, кто всегда довольствуется этой ложкой спаиваемой блажью. Как все это сказать таким образом, чтобы не ранить человеческих чувств, принадлежащих к тому же тому, кто утратил все остальные и для кого нет возможности сбить их в траченом магазине примет? Все это похоже на те тщетные старания, которые прикладываются к избавлению от краденого — не отсюда ли и стыд, пришедший вместе с ночными следами, не от ощущения ли того, что взято чужое, и даже не по ошибке, а по какому-то смутному умыслу, далекому от дали, с которой срабатывает умысел другой, заключающий нас в свой круг несоответствия, запирающий нас снаружи (тем самым лишь с пущей уверенностью определяя и до того бывшее наше положение)? С другой же стороны — что нам еще дается в жизни, кроме чужого? Я думаю о ней, проснувшейся с полуденной гладкостью (по ней она и соскользнет очень скоро в шумное небытие), и о том, из каких областей знания ко мне пришло чувство старинного, как отцовская ладанка, знакомства с этой (уже той) женщиной, и в чем его разница от простого воспоминания о знакомстве, не требующего той тяжести, той слабости, которая тянула меня к ней, как к земле. Проще всего было бы указать на место и время, где впервые произошло совмещение ее черт, позднее лишь все более уточнявшихся в том роковом значении, какое осуществляется в случае полностью состоявшейся влюбленности. Это чувство, с которым она брала на колени тяжелую книгу со слепыми словами и передавала мне без всякой надежды на то, чтобы сохранить целостность жеста, не выйти за пределы камерности и согнутого в уголках поля зрения, принадлежащего лампе, которую вижу я, но

которой она не видит (на самом деле этот резной прямоугольник менее всего напоминает поле, а напоминает как раз резной прямоугольник, для сравнительной двойственности которого оказывается довольно темноты, содержащейся внутри самой его природы — не сродни тем темнотам, что возникают из теней, званых сравнениями. От того и фамильярность любого подобия — от представления о неизбежном раскладе вани ножа на составные фигуры — пока под потолок не взлетит серафим), как сейчас говорят, храня про себя преходящее значение поступающего, непередаваемо, как сама книга, как поставленный на этом жесте крест — напоминание о вчерашнем дне, и том, что чему-то не было предано значения, хотя при мысли об этом закономерен протест: что сделало мое прошлое для того, чтобы выказать потребность значения? Оккупированная моим обиходом (особенно в тот дачный вечер был хорош графин, подаваемый всеми усилиями осени в качестве полноты картины) и вода в нем, иначе что так до неузнаваемости узнаваемо, как безвременная ночнушка, мятая, как бумага, она претендовала на ту единственную твердость, которая хранится на выходе из обихода. Именно в тот проведенный с ней вечер я понял бывшее мое отчуждение от окружавшей меня мебели, и что только теперь она отпускает мне мой грех непричастности, вступая в круг моей жизни. Может быть, дело было в относительной темноте, возносящей, как известно, свет на те или иные возвышенности — отсюда и берет начало (и находит конец) крупная холмистость вечерних часов. Откуда в таких крашенных гробницах явиться мягкости — и откуда явилась она, не оскорбив траура, поднятого над днем? Ее слепое хозяйничанье в моем доме казалось мне простым передвижением, и предметы только следовали за ней, на свой лад запоминая каждый из ее поворотов, и ни чайник, ни кружка не возвращались из путешествия без привносимой новизны, которая одна и есть новизна, потому что я уже знал тогда, развалины вечны, и вечность — развалина. После ее ухода я не мог вспомнить, где

стояла моделька идущего ко дну корабля (на позорной пластиковой подставке, безобразно удлиняющей корабль). Окно не тает в своей значительности даже когда в нем исчезает человек, казавшийся, пока не исчез, тем самым гвоздем, на котором и держится окно. Так он возвращает тебе, уходя, настоящий гвоздь, онемевший в кармане в общем безмолвии, я не могу его там найти. Мы с ней тогда договорились застрелиться от невозможности любить друг друга вечно (невозможность оказалась чистой правдой), и судьба наделила меня увесистым ружьем, которое перевешивало любые причины не стрелять из него (вам обоим кажется, что это юмор заднего ума, но вы ошибаетесь — уже тогда было смешно, даже смешнее было тогда, скажу в оправдание). Ружье предшествовало любви. Как легко дается подобное предшествование! Напоминает факт моего младенческого крещения, заключенный в двух одинаковых арках, сквозь которые я был пронесен обратно к безглазой модельной маме. Подобное возвращение скорее воздвигает мембрану между событиями, мягко отлучая от любой попытки преодолеть ее, ибо она состоит из самой материи памяти (обыкновенно — отбойного молотка, и в минуты досуга — лист). Я до сих пор целюсь в нее сквозь ту же единственную мембрану, и вот я, кажется (шепчется коридор), старше старьевщика, а она все так же без неприязни смотрит на меня — такая же молодая до невероятия. Я медлю...

Но в случае выстрела двойственность (или взаимность, если хотите) будет нарушена тем, что только один выстрел будет слышен. Но если — двустволка? Наложение лжи на ложь, совет перебиваемых согласий, створ смертника с глупостью судий и присяжных (мне одному присяжные все до одного представляются средневозрастными завсегдаями спортзала?). Я думаю, вы больше всего боитесь этого — что в воздухе вставший во весь цветаевский рост механический окрик выгнется в вопросительную дугу, и выпрямить его вам не хватит того света. Кто перебьет этот хор одобрения, перемоловший имя в сплошную хлебную белизну — уже

нарастает поверх него корка, но хрустит пока еще только снег под пальцами. Дерево слетает с места вместе с птицей, и птица с деревом — в новой уверенности подъема, на новую высоту причинности — если есть такая высота, которая покрывает собой предшествующую как низость, или хуже — незначительность, растительное существование. Так в нашем понимании соотносятся первый выстрел и второй — точка А и точка Б, состоящие в движении к точке, где приходится выбирать язык, на котором ты говоришь. Не они ли это — гумилевский колпак? Бывают и не такие совпадения. Например, однажды мне пришлось на ум ровно то, о чем потом будет говорить мне книга — безымянная теперь, но тогда — о чем речь, или откуда она, и куда ее сдать, если давит долг перед всеми заглядывающими через плечо расписавшимися. Слепые, просвечивают буквы. При слишком ясном свете я отложил книгу до вечера, и выглянул в окно спальни: там все совпало с моими мыслями — видно, недостаточно глубокими, так что последняя страница просвета и была видом окна, непрерывным напоминанием о том, что собою прошивает в своей повседневности свет. Меня настиг дверной звонок — в моем домашнем состоянии, и я поспешил открыть дверь полузнакомому человеку, который спросил меня, проживаю ли я здесь. Я ответил ему, что да, и, узнав, он растворился за дверью, но разве я это видел? Не презумпция ли это? Когда я снова взял в руки ту книгу, то так и не смог найти место, на котором остановил чтение, — подобие слов было совершенным, скольжение фасада — неостановимым. В один из подобных дней я сам выскользнул из своего подобия, оставив ряд нетронутым, — пусть другая армия подобий сливается с ним в равном насилии над кем-то другим, потому что я сумел спастись из этой крошительной детали, соприкасающихся с собой взятыми в кругосветное странствие цветными тенями, но я смотрел на себя в зеркало перед отраженным выходом на улицу, и видел попадания пуговиц на застегиваемом пиджаке. На следующий день, — в том же самом, уже несколько взлохмоченным, costume, — я

отправляюсь на встречу с Нэлли, но, может быть, этот день искусственно приближен к предыдущему, как приближается бумага к огню. Тогда — который из них бумага?

Что, если я могу сказать тебе только, который из них — огонь? Или — об огне в его свободном плавании, огне в поисках Диогена (условного — в реальности им будет Джордано Бруно)? Манус расскажет теперь тебе другую историю из своей полной молодости, и, зацепившись за какую-нибудь расходную деталь, какую-то оптовую гайку сердца, ты выяснишь, что она — та же самая, одна из множества. Он всем это рассказывает — ты не один. В этом и есть смысл каждой из его одинаковых историй — «ты не один» Думаешь, ты один такой? Я сразу понял, когда ты пришел, что ты уйдешь раньше, чем произойдет нечто более значительное, чем твой приход. Тут, правда, надо отдать должное — твое исчезновение оказалось куда значительней твоего появления... правда, растянутость его во времени, растворение тебя в узком, казалось бы, выходе, принятом тобой за туалет, — все это превращало твой уход в отсрочку, как бы постепенно отпадали от тебя приспособления, которыми ты держишься на плаву истории — все эти руки, ноги, голова, туловище, шесть пуговиц... правильно я перечисляю?

Как видите, Манус, наше знакомство с Артуром имело вполне тривиальный характер. Не было никакого, если хотите, умысла, кроме самого дальнего — разминуться в случае непреднамеренной встречи, состоись она в небесных анналах под рассеянные раскаты барабанных мембран. Что же касается Нэлли, то этим был мой указательный палец, проводящий как бы самую первую границу между ее сведенными лопатками — в тот самый момент, когда сошлись наши с Артуром косые взгляды перед тем, как вся айвазовская машинерия рухнула под общей тяжестью сговорившихся ветра и паруса — еще меркнувшего в темнотах, как сейчас — Нэллин простуженный нос, овеваемый неслышным запахом розы.

Но прежде, чем Макс запнется о следующую рифму, я поспешу доложить вам

следующее: в первую очередь я посмотрел в окно — чтобы увидеть примерно такую же группу не молодеющих уже людей, раскинувших вокруг себя, как детские крылья, фигурки «Монополии» красного и зелено-го цвета. Откуда Максу знать, что я вышел именно за туалетом, а не за выходом? Мне отвратительна инфантильность так названных «арт-кофеев» — их стоялый холод, выросший, как плесень, благодаря какому-нибудь сломанному в вонючей пустой комнате окну, и входимым людям, чьи беглые отличия сводимы к бледному знаменателю молодости. Кто цепляется за мою прошедшую воду глаз одежду, недостаточно точную для попадания в ускользящего сезонного типа — сквозного манекена, стоячего, как вода в глазах? Может быть, все, происходящее в поле зрения — только подступающие слезы, и ничего больше. И я кажусь себе ожидающим в полуосвещенной комнате — чего? Большого дома, чья вторая половина погружена в ночь, как знаменитая лермонтовская полумаска, связанная гладко с глазками, как в тихом неравном браке, внутри которого комната, разделенная между спальным мужем и кухонной женой, переходит по наследству от света к тьме. Как бы не разбудить его? И потом — как бы разбудить?

Ключ — в сослагательности. Мне на ум уже приходит светлое до полного обесцвечивания утро, распыляющее дары дня даже после восхождения последнего на подмости — с забытой речью и пустыми карманами, зато глаза, заимствованные у публики (два студента и журналист), как бы простуженные ожиданием. Позже он будет скрываться в толпе в попытках вернуть себе хотя бы часть розданного утром, а вечером поймет, что ему нечего передать. Но у вечера уже другие сувениры... вообще мне не очень легко дается эта закатившаяся за спину округлость суток, и чем дальше, тем плоше, как говорится. Передо мной, что называется, стелется и стелется скатерть, как сейчас говорят, пробников — крохотных порций всего, что только можно вообразить (и воображение вступает в новую силу, как бы подсвечивая предмет изнутри, не касаясь

больше его контуров и используя только его прирожденные краски) — и плоскость этой скатерти, кажется, напрямую связана с этой невозможностью чего бы то ни было повториться, отразиться в чем бы то ни было зеркале, засвидетельствовать почтение памяти. Это молчание материи — оно не от учтивости... и этот свет — не лицемерие прохожего утешителя. Все по-настоящему, и именно поэтому не спится. Я знаю, что такое невозможность уснуть при свете памяти. Откуда он берется и что освещает? Не кажется ли мне, что свет, исходящий от этих предметов, охраняет только их же самих — только форму, ставшую им могилой? И долго ли сгорбленный вопросительный знак будет защищать меня от этого знания, которое уже становится мною. Я вижу скупой переезд дребезжащей мебели и дирижирующую вдову, как бы подготавливающую пространство для прогулочного эха, изначальной, а не задним числом утвержденной, двойственности, которая подготовила ее приход и которая после ее ухода возобновится, как возобновляется безучастность лица, когда произнесено уже имя, и к нему не приложился человек, как прилагается к письму слово о любви. Но ведь должна же быть в этом втором выражении лица хотя бы тень разочарования? Или другая тень — какой-нибудь светлой горы, отмеченной на карте настойчивой точкой, тень, наложенная на лицо, которое, если убрать тень, стало бы слишком внушительным обобщением. Сто раз бывало так, что лицо, наделившееся сквозными признаками определенности, не сужало, а расширяло круг обобщения, мягко заключающий тебя в него, как другая сила. И тогда предъявляющий, пытавшийся поставить тебя перед тупиком незнакомства и незнания, сам тушется, сам возвращается в неопределенность, которая на самом деле является первым шагом к небытию, а не к бытию.

Манус сказал все, что имел в виду. Многое из сказанного им было известно — и, однако, субъект традиционно вызывается на бис из любого жизненного тупика — будь то знакомство или незнание, тут уж как повезет. Перекатывающийся же предикат

всегда нов, как само предательство. Сlišком сильное слово, вы полагаете? Но коренная ошибка в том, что на предикат из каких-то провинциальных представлений налагаются свойства субъекта, его ответственность субъекту — ничем не обусловленная фамильярность! Я так скажу: нет. Нечего сказать о том, что не имеет к субъекту отношения. И остается быть благодарными за ту непрерывную фрустрацию, которой нас снисходительно наделяет следствие, которому не лень раз за разом опровергать твои и мои предрассудки.

Что, однако, если такого рода опровержение само является предикатом, что, если таковой сценарий — один из верных (я не говорю — единственный)? Подобно тому, как (уже потолок, не пускающий относительную оговорку в недружелюбное небо) больной в горячке осознает только присутствие женской фигуры рядом со своей незнакомой постелью, не зная, кто это — мать или жена, присутствие, равное его существованию. И — в мягкой версии, уход ко сну, возвращение в сон, и на фоне ночи, ничем не оправдавшей ожидания темноты, темный женский профиль. Таков ли предикат? Смерть — скажешь ты, и не будешь прав. У смерти юридическое лицо.

Значит ли, что она вопросительна? Я бы, все же, не включал света. Как бы ни хотелось мне узнать в эту растянутую, как нота, минуточку, кто из вас говорит со мной (и я ли — тот, с кем вы говорите). Вы говорите по очереди, это правда — поочередно сдаете друг друга, как дурные карты, но голос выдает лишь говорящего. Поправка — из сказанного им было известно все — за исключением подступов к предикату, которые я не нарочно сделал крутыми, крутыми до невозможности. Я смотрю на эти скалы и понимаю, что по ним не добраться до вершины. С другой стороны, кто придумал назвать вершиной этот постыдный привал с видом на близорукую низину и канцелярскую печать солнца — все это годно лишь для пропахших домашней тварью открыток, которыми откупаются от любопытства, но больше — от тупой беспредметной тоски. Вот мне доходит эта от-

крытка, и я знаю магазин, где была она куплена. Это уже что-то — чаще всего таковых лавок не счесть, как будто прошлись метлой избытия по городу, в котором я умру. Тогда (как если бы медленно подносимый к воде палец касался ледной корки и разрушал ее) поиск нужной открытки (уже помеченной необратимостью) напоминал бы нахождение включенной лампочки в полуденный день. Кому посреди дня мешает спать эта лампочка, почему я должен ее выключать, если мне без нее не видно страниц приглушенной дневной жалобы, которая всегда — и написанное, и прочитанное причитание о свете ином, нежели общая милость солнца? Как в том анекдоте (услышанном, кажется, в том же дневном краю) — о двойном, поочередно тухнущем и гаснущим, свете. Ощущение такое (а я не вижу — за спиной тайна, а впереди — стена), что меня просят подписать собственное прошение, но я не могу. Кажется (прячусь я — за неочевидность виданного и неочевидность невидимого), я видел сон об этом — о том, что не могу подписать собственного прошения и что испытываю некоторое давление по этому поводу. Как если бы все, воображаю я (сон уже кончился), зависело от этой подписи, включая само существование фамилии, скрытой за ней, как за поставленной ширмой скрывается всегда предполагаемая нагота, которую никогда не удастся угадать (еще реже — проверить догадку). Подпись удостоверяет себя сама, подобно голосу. Для нее мне теперь не хватает ни света, ни чернил. С чего бы начать, в этом случае? С двух или трех лишенных корней деревьев, бесшумно шевелящихся налегке, как в недалеком плавании, а между ними — десятилетия, затапливающие их так же равнодушно, как вода затапливает корабль. Это равнодушие взаимно. И вот теперь меня просят расписаться в этой безучастности, но разве это не означает, что равнодушию конец, как конец бывает положенному на кривой стол коту, который больше не может смотреть на тебя ровно — не суждено осуществиться прощанию, останется некоторый крен — как бы покосился на даче забор, поставленный между двумя участками.

Как разница между безучастностью и равнодушием. Я знаю, о чем вы хотите сказать — вы говорили об этом вчера, когда воздух был легче, и казалось, что сказанное возвращает, настолько гладко вы говорили, как будто перекатывался из угла в угол камень, и я мог видеть от него обратимый след. Не так — сегодня, и я понимаю, что на самом деле сказанное заключено в речи, которая для него столь же чужда, сколь и прозрачная бутылка. Не в этой ли тюремной чуждости, так резко противопоставленной физическому, как тьма — звуку, редкая возможность ощутить собственную матерчатость? Как приложиться разгоряченным лбом к холодной стене.

Мысль не нова и похожа на идею лизнуть зимою дверной замок. Знание об этом опыте распространяется в морозной тишине, как само молчание, иначе как объяснить повсеместность феномена и неизменное удивление результату? В этом случае, кажется, только фактура знания дается даром — только его дармовая сторона, как если бы на рынке остерегались поворачивать монету орлом во избежание столкновения с подделкой. Но, может быть, там имеет место страх столкновения с подлинностью? Сто раз подтвержденный результат почему должен считаться ошибкой? Кто будет отстаивать эту позицию? На эти и другие вопросы нам снова ответит Манус, но ты в процессе этого забудешь о том, как и когда был поставлен вопрос — ты не сможешь сказать о нем ничего, кроме «он стоял тут всегда»

Мне это понятно. Таким образом и меняют замки, стоит подобраться ключу. Конечно же, дело не в ключе — он один, к нему вопросов быть не может... откуда, например, мне передалась эта родинка на шее, о которой Нэлли говорила, что не замечает ее? Удалить ее можно только вместе с сонной артерией, и я живу с ней, как с орденом, полученном во сне. Может быть, это и отделяет меня от тебя — эта родинка, о которой, как о любом знаке отличия, неприлично говорить, но говорить приходится, когда речь стоит о включении света в список подручных предметов. Я бы хотел, правда, чтобы

ты сказал об этом сам. В руки тебе дается машина наших с тобой различий.

Хорошо. Удоверяю этим «хорошо», что Макс отличается от меня родинкой на шее — отличается не в свою пользу, прошу заметить, ибо иная деталь может оказаться смертельной в свете отчета, составленном из архивных обрезков, как письмо похитителя с требованием вернуть похищенное. В итоге, как Манус и говорил, свистит прогулочный ветер, и никого рядом, кроме фигуры одиночества (которая есть одно только пустое окно).

Я говорил о том, что хотел бы поставить вас на расстояние в один шаг и велеть стрелять одновременно. Для этого понадобился бы согласный со мною второй секунданта — что само по себе тавтология, к тому же я не уверен, каким ему следует быть: иметь ли ему волевою черту жестокой отстраненности (как у меня) или же просто — быть ему увальнем, исполнителем этой воли, моей отцовской воли?

Вы так говорите, как будто в самом деле не можете решить между двумя близнецами. Может быть, вы могли бы таким же образом выбрать и между мной и Артуром? На самом деле я не могу понять, почему я один каждый раз оказываюсь недостойным зачета по вашему предмету. Сколько раз содержимое моей беднящей комнаты переливалось в широкие стены аудитории! А из предвещающих мой провал последних счастливец могла бы выстроиться советская очередь. Чем я плох? Самое страшное — осознать, что для вас я мог бы быть плох тем же, чем и для вашей дочери. Мне всегда мучительно давалось понимание связи между вами — но в конце этого мучения для меня открывалось вдруг широкое поле вариаций, в котором и была растворена моя жизнь. И казалось, что я иду по этому полю прочь. Появление Артура сделало мое существование легче — посреди поля в какой-то момент просто выросла стена, вдоль которой можно ходить, и обратно, но — что обратно? Откуда именно я шел? Если бы мне показали источник моей молодости (пусть не вечной, пусть бездействует в углу заката фотоаппарата), я бы до самой смерти шел к нему, не боясь дойти.

Но мне был доступен только свет — чужой лампы и чужой гостиной, где вы и Нэлли передавали друг другу альбом с альбиносами, а потом мне, и мне не было понятно, почему вы смеялись над женщиной, которая стоит над пустой инвалидной коляской и чему она улыбается. Ни вы, ни Нэлли, наверное, никогда не могли представить, что мне тоже есть чему улыбнуться, что ужаснуло бы вас. Этим я и жил в те смутно счастливые дни наших первых встреч — моей непрозрачностью, продиктованной отсутствием ко мне вашего интереса. Мне было позволено, тем не менее, ходить поперек лиственных теней, где в плоском раю комнатные растения смешались с дворовыми — или просто так выглядит испорченная палитра в конце работы? Мне была очевидна нехватка в квартире женской руки, как очевидна была нехватка женственности в Нэллиных руках — я заключаю эти два наблюдения в неуклюжие объятия друг друга, чтобы их ряд не выбежал из моего сердца и не вбежал в него — так работает серебристая игла, призванная с верхней полки метафор сшивать края пореза, но глубока ее задумчивость.

Прямо вижу, как вам хотелось бы вручить эту иглу в полупрозрачные руки моей дочери, но это было бы полной утратой индустриальности, это вам сейчас кажется, что реализовалась бы ваша отвлеченная амбиция. Она не умела даже зашить дыру в единственном носке — впрочем, она никогда и не пробовала.

Тогда почему вы думаете, что не умела? Может быть, у нее просто не было возможности явить свое умение нам (и носку) или даже себе. Вы, конечно, думаете, что это спасло бы ее от неминуемой смерти, и не хотите даже начинать думать о том, что еще могло бы ее спасти — пустая бумага, сжигаемая огнем прошлого. Тут важно, что любая реализовавшаяся вероятность горит так же хорошо, как нереализованная (по вашему выражению). Как разница между бумагой и рисунком.

Вы, может быть, говорите всего лишь о лицевой и обратной стороне. Тогда нет никакого противоречия в том, что оно ве-

дет себя как одно уничтоженное целое, но посмотрите теперь, что осталось (ничего) — стоит ли говорить о свойстве смертного, если его больше нет? Может быть, тогда на первый план (а остальное — метель или мушиная напасть, не видно из окна) выходят другие свойства, не казавшиеся нам определяющими. Так, например, Нэллина клетчатая рубашка, ношенная целым поколением неприкайанных детей, может оказаться более точной деталью, чем отпечаток ее пальца на замороженном стекле трамвая. Но при ближайшем рассмотрении и то, и другое оказывается ею, лишаясь свойств и наделяя ее не своими. Так в приближении большее оказывается равным. Однако — событие, возникающее из и становящееся, подобно свиданию, где пара не больше и не меньше обобщения. О Нэлли можно в равной степени сказать, что, когда она выходила из мрачного здания, листья вокруг нее уже шестели моими словами.

А где был ты тогда? Небось уплетал пластиковый салат в какой-нибудь дублированной забегаловке. Будь уверен, я уже иду туда с намерением накормить тебя полностью этим пластиком, показать тебе, невеже, пластиковый нож. Но вот я захожу в подобную, и тебя нет. Расставленные сети закусочных только и годятся на то, чтобы скрывать злоумышленников от простофиль — но отлично годятся, не спорю. Одинаковы даже попрошайки (впрочем, не исключаю, что это одни и те же). Тебя нет и не было. Ты говоришь не о том. Откуда твоя уверенность, что до твоего прибытия твое место пустовало, как если бы твое имя было написано на каждом отдельном листе, и что только с твоим приходом она смогла разобрать этот мелочный шрифт? Тут не раздают листовок с твоими именами (а из них каждое — чужое, это я знаю), поэтому почему бы тебе не назваться хотя бы на этот раз Артуром? В этом имени как не было ничего, так и нет. Ни человека, ни искусства. Мы с Нэлли говорили о тебе, и я ничего уже не помню. Ни одного сказанного о тебе слова.

Возможно, кое-что из сказанного обо мне ты относил на чужой счет. На счет себя,

к примеру. Это неудивительно — ты ведь как лежащий полицейский, о тебя невозможно не спотыкаться. Должен тебе сказать, что помню каждый фильм из тех, на которые мы ходили вдвоем, но из тех, на которые вдвоем, — ни одного. Ты был приставлен к Нэлли в качестве тени, но мне была интересна ее осязаемая сторона. Понятия не имею, знал ли ты ее с этой стороны, да мне это и неинтересно. Интересно другое — сгодился ли ты хотя бы на что-нибудь? Научил ли ее чему-нибудь? Мне правда интересно, что она думала, о чем говорила. Я беру обратно все обидные слова, сказанные в твой адрес, только не закрывайся от меня в туалете со своими сокровищами. Я буду стучаться к тебе до бесконечности, потому что мне не хватает ее, даже в твоём искаженном понимании она бесценна.

Могу сказать, во-первых, что ее интерес к изучению английского был настолько же поверхностным, что и мой — к тому, чтобы ее научить. Мы открывали окно, и в него улетал сам академический дух урока, и нам оставались одни только репетиции, сухие звезды букв, камушки речи. В школе же с английским все было у Нэлли плохо. В частности, таблица неправильных глаголов полностью покрывалась отблеском лампы, например, мел стирался о бледную доску. Теперь, когда школы давно не было, не было ничего: лекций, как вы знаете, она не знала. Как-то раз пришла к вам (к нам) на пару, и вы тогда были особенно хороши, особенно непонятны. Через десять минут ее уже не было, а вы и не заметили как будто. Зато ее появление и исчезновение были для меня как две сложенные в мольбе руки... не открывайте дверь, это может впустить Артура!

Но мне совершенно не льстит то, как вы говорите обо мне и о Нэлли. Если бы я знал тогда... хотя, уже неважно. Я теперь расплачиваюсь за то, что платил вам. Это ли не линейная последовательность, едва ли приводящая к возмездью. Может быть, в этом и корень нашей безвредности (читай — защищенности), вечной обращенности к тому, что впереди, хотя пистолет смотрит в затылок. Мы мешаем этой точке зрения (у ство-

ла бокового зрения нет), и, чтобы увидеть то, что мы видим, ему нужно проделать дыру у нас в голове.

Вряд ли увидит: кровь — это зрелище (сама по себе). Вы говорите о нас, но вы не так поняли. Я обращаюсь к вам на вы, потому что вы старше, потому что сроком ваша жизнь в три раза превосходит мою, а не потому, что вижу за вами армию, готовую встать на защиту вашей жизни. С вашим случаем мне все ясно — вы обращаетесь ко мне во множественном числе, потому что имеете в виду меня и Артура — привет, Артур. Что ты видел за дверью, пока мы говорили?

Ты бы хотел, чтобы я не видел ничего, но взгляд мой не уперся в стену от отчаяния до безразличия. Мы с Нэлли полностью оправдали имена летних месяцев, и я помню, как на белом фоне выступали белые детали, так память входит в жизнь, оказываясь лишь одним из ее слоев, ничем не оправдывая антагонизма. Все вместе — перелистывание страниц в поисках закладки. И, может быть, морщины — карандашные заметки, которые ведь можно стереть в любой момент... если бы все на свете можно было отметить глухим сигналом пройденного, можно было бы избежать этих отметок.

Но проблема в том, что мне эти отметки ни о чем не говорят. Я делал их в вашем возрасте, и теперь мне совершенно неясно, с какой целью проведена карандашная линия под словами «любовь» и «смерть» (за исключением того случая, где это внешняя в оглавление пьеса Шиллера). Полное ощущение, что это другой человек проделал кропотливую работу по порче моих книг, сжег их в витиеватом огне замечаний, и хотел бы я преподать ему урок обращения с книгами! Познакомил бы я его с вами, конечно — Макс, имею в виду, конкретно, вас. Вы вот книг даже не читаете.

Нужно, в оправдание Макса, сказать, что есть мужество в том, чтобы не читать открытую книгу и рисовать поверх ошеломленных знаков каракатиц, чертить для них из самих себя лабиринты, устраивать в личном обществе скандал с выливанием вина на пол. Кто знает, может быть, знаки

превратятся от неожиданности в камни, и перед ними не нужно будет держать ответа? Нам не дано узнать, как не дано провидеть, жив ли ракообразный внутри своей экзотической сережки на берегу недосягаемого моря утром в понедельник — ложь подробностей, мертвящая среда произвола, я сейчас особенно хорошо понимаю, как можно выделывать перед лицом существенного расхлябанные трюки, но косою походкой не дойти до выхода.

А что, если прямая идет к смерти и только к ней? Оставить ли ее идти в одиночку, почему становится так жаль это безлюдную тропинку, что идешь к ней попутчиком, даже не пытаешься объяснить, что впереди горит горд, обойти который — проще легкого?

Убедившийся не повернет назад, как если бы нужно было вспомнить еще что-то утраченное — специфику огнем вознесенных до обобщения стен, наготу иную — полную смысла и власти, не эту холодную плотность под рукой — сподручная погребушка, узнаете ли вы меня, Манус? Я — истинное лицо вашего обобщения, когда вы говорите о том, что поколение не удалось. Вы даже не можете отличить меня от Макса, это смешно, можно шутить, я мог бы забрать у вас из квартиры зонтик Макса, и вы отдали бы его без малейшего подозрения. Такова, вы скажете, цена позитивности, таков трубецкой пароход, выплывающий из собственного мусора и автономной рассеянности верхогляда. Таковы медные трубы мыслителя, скажете вы.

А что, если я не хочу вас различать? Ваши отличия мне так же противны, как и ваши мелкие детали в целом. Зонтик этот мой. Он принадлежит моей дочери. Поэтому предлагаю переждать дождь под крышей моего полупустого дома, и у меня есть для вас альбом, по которому отчетливо видно, что я знаю Нэлли в несколько раз лучше, чем вы оба. Вот, например.

Да, она смотрит на меня из плоского кошачьего туловища Гарфильда, как бы говоря о том, что я не знаю, в какой это стране и в каком году. Но наверху вашей рукой написано «Греция 1999», и тогда остается еще

одно, предельное основание отчужденности — не знать, что это именно она, но этого я уже не могу себе позволить. Может быть, дело в ней — своим взглядом она попадает исключительно в себя, обозначает себя, и в этой фотографии (а она ей не нравилась) ей, может быть, как раз не нравилось то, что попадание ложно и, уж во всяком случае, не сражает наповал цели. Она говорила мне, что это не она, что эта девочка на нее не похожа. Было бы справедливо заслушать и противоположную сторону.

Теперь, когда это одна сторона, можно увидеть нестройный ряд взаимно отрекающихся образов как игру в волейбольный мяч. Не этот ли мяч держит на некоторых картинах Вседержитель? Главное, что им нравится, что они увлечены. Нам же остаются мотки шмоток — из этих пелен не распутать крохотного молчаливого младенца. Фотоархив похож на разбросанные по углам вещи, когда невидимый хозяин собирается в путь. Ничего не получается, как будто нет никакого пути, а есть только письменный вид круговой жалобы. Все, как если бы мы сами были землей, в которой лежат. Что тогда мешает человеку стать себе землей и положитьсья?

Не положено.

Тогда кремировать. Мне нужна гарантия, что все, что меня составляет — все бумажные кораблики на воде, будут просмотрены огнем. Я тогда вознесусь выше самых смелых подозрений, белизной отличаясь от бумажного ангела, от молочной пены — так от самой мысли о белизне темнеет белизна, и так я возвращаюсь за тем, что мною забыто. Нахожу, разумеется, вас — вы уже ждете меня в полумраке моей комнаты, по разным углам зрения. Мною был прерван спор, но ничто из того, что составляет меня, что возвращает меня домой — весь оглушенный ассортимент быта во главе с воспаленным будильником и залепленным окном — не прерывает этого спора, вам хорошо в чужой квартире говорить о своем, искать свое. Мне нечего вам предложить. Попрошу Макса включить свет. За лампой находится выключатель. Так немного лучше. Смотрите, какая

косица. У нее в тот момент действительно были красные глаза — это от хлорки, а не от света. Теперь, когда ее нет, можно свободно смотреть на ее фотографии. Но дальше — только пологие пейзажи с недовольными случайными проходимцами.

От того, что человек уруливает за спину, он еще не становится сплетником. Как знать, может, он обнаружил там тропинку, идущую вдоль настенной трещины. Вы не должны думать, что за вами следуют все прошедшие — это раз. Во-вторых, эта фотография подписана Нэлли в качестве одного из наших упражнений: «Nelly». Эта вторая I достаточно хрупка, чтобы ее не было, но здесь она так же устойчива, как фонарный столб. Кажется, что еще секунду, и она упадет с этого почти прозрачного льда — на лед, и я не знаю, произошло это в итоге или нет.

Нет.

Это не так важно. Происхождение переоценено: ряженные тени предшественников не смотрят в камеру при групповом снимке. Неудача фотографии — в этом: в помещении на фоне колясочника, фамильярном родстве. Какая связь? Какая связь! Что это — колесо велосипедное? Инвалидное? Нам не дано. Но я и утраты не ощущаю — не знаю, как вы именно. Что со мной?

С тобой не то, это точно. Посмотри на себя — вот тебе зеркальное лицо буфета. У тебя на лице лицо, и оно лжет. Если его снять, то ложь станет очевидной, даже ты не сможешь от нее отказаться. Узнать тебя по этой лжи, уличить тебя — значит узнать то, что ничего. Таким образом фоновое знание и приходит — располагается фасадом, располагает им. Так раскладывается финский нож — до тех пор, пока не распадается на составные элементы. О чем я говорил?

Вопрос на миллион ответов. Мне почти захотелось ответить на первый, но второй уже сместил его, оказавшись с ним в абсолютной несовместимости. Теперь мне становится все яснее, в чем заключалась ваша конкуренция вокруг моей дочери, но мне непонятно, почему вообще встал вопрос выбора между вами. Впрочем, я уже высказывал вам свой протест по этому поводу.

Справедливости ради, связь Нэлли с вами также казалась мне чем-то невероятным — не по силе, разумеется, но сам факт ее. Ваша фамилия (а она называла вас по фамилии — знаете вы это или нет) в ее речи звучала совсем иначе, нежели в обходных листах ветра, заведенного в университетском коридоре, но так же прохладно.

Соглашусь с Максом впервые — с момента, когда Нэлли шла к нам через влажную дорогу по старой чешуе асфальта (достоверность не боится тавтологии), не помню, правда, о чем мы тогда говорили. Прерванный разговор всегда ощущается как сговор, когда третий не несет в себе никакой разделенности, кроме похожей кофты в витрине. Она носила иногда подобное — приглаженные умножением резкости покрывала, брала их с собой из какой-то жалости к проходящему. Может быть, просто из автоматизма. Но кто говорит, что жалость не автоматична? Сейчас, например, мне кажется, что сломался какой-то механизм, отвечающий за слом. Длится то, что остановлено в стоячей воде, и движение — только поверхность, ничем не оправдывающая имени гладь. Столичные гости говорили о вашей фамилии как о пустом звуке — я слышал, от меня не скрывали ничего. Никто не знает о нашем знакомстве, на ваших лекциях меня не видели. Может быть, еще не пустой, но пустеющий, со сквозящей ноткой пустоты. Ваши новейшие выкладки и вклады вызывают смех у умнейших из ваших студентов (глупейшие всё ещё смеются над туалетными салфетками, которыми вы протираете очки), имена, называемые вами, все ближе близкому кругу ваших краснеющих знакомых. Вполне допускаю, что одиночество, ощущаемое вами в форме близящейся угрозы — не более чем оставленность. Вам, конечно, хотелось бы думать, что некто присматривается стертым вечером к угловой единственной фигуре в самом центре лишенной перспективы улицы, отслеживает ее по седине, резко выделенной на темнеющем фоне. Присматривает за ней. На самом деле все иначе. Вы — преследователь. Радость вашей вчерашней цели — в том, что сегодня она забыта, горе сегодняшней — в случай-

ности. Счастье вашей химеры — в том, что ее нет. Страшно видеть, как вы обедаете в одиночестве, страшно быть вашим дистанционным сотрапезником.

Я не совсем это имел в виду — не нужно приписывать мне стройность осуждения, мне не свойственная такая категоричность. Все, что ты сказал, так же мало говорит о Манусе, как мы с Нэлли — о тебе. Но я повторяюсь — во времени, отошедшем на расстояние холостого выстрела, я уже повторялся, не сумев повториться при этом — чем бы она ни была, эта как таковая материальность, в которую теперь надлежит завернуться. Мои повторы холосты, как жизнь моряка. В случае с Нэлли бесконечное повторение собственного имени ничего не дало — как ничего не дает сейчас, и приходится признать, что я требовал и продолжаю требовать ответа от самого звука ее имени. Она не могла повторить даже его — за мной, за опережающим зеркалом, в котором казалось, что какая-то медленная жизнь поднимается, как камень с земли. Она не хотела говорить имени или не могла. Потом разворачивалась каким-то привычным кому-то жестом, с каким, оказываясь бумажным, разворачивается голубь, себя обнаруживая в пространстве собственности. Нэлли полностью освобождалась от меня и припоминала наличие чего-то, чего не было в моей закрытой квартире, или удивлялась лишнему. Это еще не было движением ко мне, как может показаться, но я уже был при этом движении. Скорее, имела место рассеянность, в момент которой в жизнь может быть впущен некий дух чужого торжества. Но как раз его не было во мне — было поражение, и долгое поле души, по которому катится иное, не зная, как повернуть и придать окружающему отношению к себе, разубедить во враждебности. Стержень урока вылетал из этих часов, как спица, и напрасно держался бледный, как на канате акробат, на застекленной картинке луч. Я успевал подумать о том, что к этой картинке — тяжеловесной абстракции с отдохновением (и мгновенным разочарованием) жилистого листа в левом углу — я имею столь же мало отношения, что и Нэлли. В общем, я ждал ее ухода, что-

бы, заперев дверь на два замка, ворваться в комнату, где она сидит, улыбаясь так же, и, не раздевая, ощупать с головы до ног — меняющуюся у меня в руках, теряющую и приобретающую в деталях, как если бы то были ключи, перебегающие из внешнего кармана во внутренний. Иногда, забыв почти прозрачный от новизны и моды свитер, она возвращалась. Зеркало напротив кровати начинало без нашего ведома следующий урок, и Нэлли смотрит мимо него — на валяющийся вразнобой снег, и кажется застывшей, ведь во время предыдущего урока был май...

Вы объяснили ей, что май — принадлежность? Включили чередование тухлого и гашеного света? Это было бы вашим лучшим гипотетическим ходом. Пора было отбросить решето второго языка — третьего языка — и говорить, но вы, кажется, с ней не были так разговорчивы, как со мной и Артуром. Мы располагаем, скажите? Есть в нас нечто божественное?

Я бы побоялся этого божественного — в нас оно или нет. Если первое, то второе. Третье, по вашему совету, отброшено за реквизит — туда, где хранятся смазанные пылью защитные палки, образуя прочную от времени преграду, которая уже ничем не напоминает дни, когда из них состояла преграда иная. Все это держится на весу и на свету, сухие обломки корабля, и негде зажечь фонарь, чтобы ночью их было видно. Здесь осуществляется ваша осведомленность. Между Максом и Нэлли ничего не произошло, потому что вы видите всё, что произошло между ними.

Прозрачность нужна только для того, чтобы видеть — полузабытый лес, выпившиеся глаза ос, сердце света, бьющееся медлительно, как если бы. Все это на месте: проходные дворы исчерченных, насильственно вытянутых поворотов — в свете огня видно, что втуне проделана черновая работа, и память еще хранит следы ей предшествующей безупречности. Впереди меня — я, слитый тавтологично с женственною фигурой, проходящей сквозь размытую листву. Ни следа старости не хранит это старое воспоминание, хоть, может быть,

много позже добавилась тень, лежащая на ее плечах в форме какого-нибудь платка, становясь платком перед лицом нежданно заглянувшего света. Ничто не подкрепляет ее все более уверенный шаг — кроме того, что сужается тропа, и сойти с нее становится все более невероятной перспективой. Кроме того, темнеет, но вот уже я вижу из-за ее плеча свой пустой дом с оставленным нами и для нас, как оранжевый желток, светом, и чуть освещены им темные мухи. Помимо того, что я целился в нее из ружья, мы еще развлекались изучением друг друга на предмет клеща — темного лесного ордена, за который иногда принимались родинки (так порой за звезду принимается в темноте спутник): ничему постороннему нельзя было доверить и малейшей детали, потому что знающий отдельно о малиновом комарином укусе у нее под левой лопаткой был нежелателен, а его отсутствие пугало — как если бы и в самом деле означало отсутствие этого укуса, и самой лопатки, и ее почти прозрачного голоса. Так был найден искомый клещ — на левом плече, после долгих поисков. Она писала мне потом что-то, что я не очень помню, но помню, что объяснялся факт ее отсутствия — родители после находки больше не пускали ее ко мне. Еще там было следующее (вернее, вечно предшествующее, глуповатым образом остерегающееся войти в просторную комнату, где для него специально осветили каждый уголок): «Не о чем переживать — это просто жук, маленький жучок»

И почему вам обязательно всегда уточнять это предшествование? Неужели и так не ясно, что оно повсеместно — все места заняты, остается стоять, и нельзя двинуться от плотности толпы. Или напомнить вам, как вы говорили о темноте как о зале ожидания, в котором все оставлено так, как никогда не было, и молчат незнакомцы? Вечное предшествование — и есть вечность, говорили вы. Неужели с тех пор, как вы это придумали, вам удалось еще чуточку состариться и поменять свое мнение?

Я готов многое простить Артуру, но обвинение в непоследовательности... посу-

дите сами, Макс, есть ведь и пределы. Их, собственно, два: пустота и избыток. Третье — Артур. Вы согласны?

Вы слишком много на себя берете, отдавая мне столько власти. Оставьте и себе немного. Не мудрено прийти к решению сделать третьего крайним. Но третьего во мне не больше, чем первого и второго, поэтому ваша догадка неправомерна. И мне странно, что при выборе грубоватой оппозиции вам оказывается нужен третейский судья — вы хотите и ему придать черты этой грубоватости, наделить его центром смешения чужих кровей, и мне это безразлично. Пусть некто другой морочит себя непримиримостью крайнего духа с крайней плотью, я снимаю с себя полномочия самоубийства. Что еще? Меня беспокоит схожесть ваших описаний. Ладно бы первое было продолжение второго, но у меня стойкое чувство, что второе принимает черты первого — как побежденный учитель, склонившийся перед пустяком, согнувшийся в поклоне над ландышем. Если спросите меня...

То ты ответишь. Не было такого, чтобы ты промолчал там, где царит молчание. Интересно другое: вам, кажется, очевидна необходимость пробела между первым и вторым, как если бы природа каждого не отличалась в достаточной степени от другого. Неужели, не будь пробела, исчезнет различие? И уж во всяком случае, плох для этого Артур: как мы успели увидеть, любой пробел заполняется им бесповоротно — чем угодно, чем ему угодно, то есть. Не вам. И не мне: я на вашей стороне, несмотря на вялый конфликт интересов. Несмотря на то что вы от раза к разу заваливаете меня на экзамене, а я вас — зачетными листами, на которых все менее узнаваема подпись декана, мы говорим на одном языке и об одном и том же. Разве это не чудесно? Сколько свободы в этом предмете. Простите мне мое плавание...

Для прощения необходимо вернуться. Ты же пока даже не тронулся с места. Все, что ты говорил, — только подготовка к речи, и без тебя известная жевательная резинка «Love is...», можно разве что сквозь землю

провалиться от такого настойчивого стояния. У кого же ты просишь прощения и за что? Всем очевидно твоё алиби — ты все это время стоял, уткнувшись лицом в стену. Какие могут быть подозрения? Манус хотя бы всеми усилиями даёт понять, что у него была жизнь. Этим он, по моим расчетам, и заслужил свою тревожную старость и скорую смерть. Однако высказанное мною опасение относительно относительности сказанного им остается в силе.

Только в вашей голове может возникнуть связь между этими двумя историями. Вы просто никак не можете забыть первую — ваша ревность распространяется на любые подобию, вы все зеркала готовы увешать простынями. Могу я дать вам совет? Не обедняйте себя. Не ищите специально подвоха, а если находите — приветствуйте его. Для Макса вы и есть подвох. Подвоха не было только в Нэлли — в её намерениях и ненамеренности, в её прямотушии по отношению к смерти. Тут уже вопрос к вам, как вы допустили.

Все знали о её увлечении кружком огневодов, тут я не одинок. Если бы был одинок, то было бы намного тоскливее — что делать теперь с этим знанием? Некого обвинить, кроме знающего: не осталось ни одного. Два раза я ждал её в проходной арт-кофейни — лишенный стула, чтобы размышлять. Ничего не было — скучал шпион, скучал полицейский. Доска объявлений: «Огневоды собираются два раза в неделю по воскресеньям». Босиком, мне было разрешено пройти в комнату, где вокруг залитого светом и чаем стола происходило собрание сочинителей. В ранней молодости мне снилось: я выхожу на стертую сцену зала напротив ожидающих с оттенком осуждения глаз и говорю такое:

*Из полутемной залы, вдруг,
Ты выскользнула в легкой шали —
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг...*

И тут кто-то (причем позади меня) спохватывается: «Постойте, так ведь это...» — и я с провинностью изгоняюсь из собственно-

го сновидения. С присущей мне ответственной честностью я пытался от противного полюбить обычный работающий народ, не имеющий досуга для посещения огневодов, располагающий лишь одним воскресеньем, но собрания были хорошо организованы, и любой мог к восьми вечера дотянуться из оглушенной конторы, оглушительной мастерской, воняющей поликлиники. Сперва происходил исход сочинителей — при том, что один-два из них оставались на огневодов, занимавших время в том же месте. Там менялась вокруг трех ламп и пустующего комода человеческая декорация. Идея была особенно проста — в одну из ночей осветить город огнями импровизированных факелов. Все хотели всех разбудить, чтобы на улице стало светло как днем. Это было не ново, но никто не обсуждал предшественников, как если бы их не было. Уже одно это могло заставить подумать о недостаточном уважении к делу, мелком соперничестве текущего с утекшим, желании достигнуть того дна, которого достигло второе, открыть пространство небытия. Для Нэлли это было предприятием невидимого нам масштаба. Её глаза горели, как два крупных города.

Ты так говоришь, как будто тогда это было ничем: волнением шторы, отблеском мишуры. Для тебя не было ничего значительного в том, о чем ты говоришь — в том смысле, что не означало ничего. Теперь ты говоришь нам, что из этой незначительности выросло означаемое — при том, что никто не заказывал этого памятника посреди улицы. Этого человека никто не знает, не ждет ни в одном из освоенных глухих домов. К нему подойдет для фотографии турист. У Нэлли есть старая фотография, где с двумя её подругами она окружает статую Горького. Облепили. В конечном итоге безразличие памятника всегда более основательно, чем безразличие прохожего. Хотя в последнее я верю вполне — не может не усыпить эта ожившая открытка, это промежуточное достижение популярной механики.

Прошу вас перестать. Мир широко разнороден, но, полагаю, на свете нет ничего скучнее скучающих людей. Вы просто не

были на настоящем море, не ходили вдоль берега и забора в ожидании конца дня.

Сочувствую. Вы и тогда были влюблены в кого-то каким-то особенным образом? Иначе зачем бы вам понадобилось море, и день, пусть и длящийся к концу (на самом деле, с конца и начинающийся), зачем вам было бы говорить об этом нам? Мир недостаточно широк, чтобы свестись к вашему взгляду. Не может Вселенная висеть на вашем гвозде.

Я всего лишь хотел отметить ваше и вообще одиночество. Одиночество мира, оставленного человеком, огромно. Он может только сам с собой поиграть в мяч, стучать его об потолок, например. Или, не знаю. Напоминает мне, как я пытался занять Нэлли чем-нибудь в первые месяцы материнского отсутствия (вы эту мать видели — помните фотографию с горой Эверест и косым профилем, едва не уместающимся на поверхность редкой монеты? Этот профиль остался там жить) — пытался научить ее играть с самой собой. Скольких потом трудов стоит разучиться! Я сейчас не говорю об обобщенной ситуации Максоговского недостатка, а о вполне определенном тупике, достигающемся познанию, и в первую очередь — познанию самого себя. Правда в том, что герменевтический круг незавершен: ничего страшного. Он недаром связан с герметичностью — не безвозмездно. Возмездие близко, возмездие — близость без последнего шанса прикоснуться, разоблачить даль. Макс, хоть и не владеет моим предметом в достаточной степени, все же хорошо понимает эту изначальную обреченность познания, которое, идя от себя, до себя не доходит. В этом контексте хорошо вспомнить гумилевского «Жирафа»: кое-кто так долго вдыхал тяжелый туман комнаты, что у него отнимают и его — наподобие того, как увольняют из конторы образцового работника за неимение семьи и любовницы. Ищущий оказывается эмпирическим фактом — так работает логистическая цепь питания, так загорается солнце. Что он обретет, кроме обратной дороги, проложенной до него тем, что до него было?

Обратного пути не продлить. Никто не знает, что именно совершается в узком кругу знакомства и отчуждения. Тот самый условный Артур, руганый вами, отделяющий первое от второго, на самом деле — вас от Нэлли. Это хорошо. Если бы не это разграничение, едва ли бы незаинтересованное в высшей степени лицо могло отличить вас от современной девушки: ваши волосы, ваши глаза. Можно продолжать.

Продолжите же. Доведите мысль до самой причины вашего недовольства. Что во мне заставляет вас раз за разом отправлять меня на новый круг выяснения подробностей? Что еще вам надлежит от меня услышать? Или вы ждете от меня, что скажу при всех — вылезая из-под парт, влезая в окно, заполняющих самые поры аудитории, кабинета, комнаты — то, что из страха не можете сказать вы? Я не из пугливых, шепните мне на ухо, вышлите шифрованным письмом. Для меня вы — угроза. Для вас — иное, идущее следом, невидимое мне из-за вашей спины, слитной с собственной тенью. Я не боюсь вашего палача. Все это кружится до бесконечности, не находя выхода в себя, в осуществление. Оно — и есть кружение мое вокруг вас, и закатившегося солнечного глаза, глядящего из своего окна на то же, на что я — из аудиторного, в одиннадцатый раз.

Эта повторяемость, может быть, и формирует камень, который послужит основанием. Камень камня: все то же, встреча встреч. Ад камней. Но откуда берется пространство, кто его усвоил? Может так оказаться, что пространство не имеет значения: оно — всего лишь отсутствие точности в пику убийственной точности камней. Они два перевешивают все то, что их окружает — уже окружило, как лесное зверье. От одного друга-философа я слышал однажды, что стоит сесть посреди поляны, как через несколько часов вокруг тебя начинают собираться зайцы, бурундуки, белки. Так он пытался в лесу всеми, не зная недостачи. Как мы видим — говорил он — пространство обречено: эти два камня (он вытаскивал), их кружение — и есть пространство.

Тут нечто, подобное смертной казни и пожизненному заключению — одно являет другое, скрывая себя в его приближенных чертах. То был немец — мы сидели с ним за одним белым столом в белой столовой, и он рассказывал мне, помимо прочего и в основном, о своей жене; там была фотография, и я кивал — действительно. Далее он убирал фотографию в нагрудный карман — под молчание окружности и глухие раскаты уличного музыканта, и продолжал обед. Ощущалась неловкость, которая возникает после радужного сближения людей общего возраста и схожих интересов, когда выясняется, что больше у них ничего общего нет (иногда удается — и это радость — переждать шторм случайной единичной встречи под крышей гостеприимного артрита). Мы оба отметили вытянутого кота, распущенного вдоль одного из неубранных столов. После мне ничего не оставалось, как подняться по узкой лестнице вслед за ним в его боковой номер, где он вручил мне рассеянную старушку, глаза которой не узнавали лица, на котором находились.

Вы должны были сообщить ему, что у вас уже была одна молодость. Рассказать о крылатой осени.

Ничего обо мне он не узнал — говорил постоянно, как автоматический. Как будто ему было не только неинтересно, но и страшновато узнать что бы то ни было обо мне — как если бы в чужой свет попавшая собственность оказывалась чужой. Вечно нам кажется, что нечто чужое то и делает, что окучивает грядки. В конце концов, приходится и признать, что это не изреченное, а услышанное есть ложь... впрочем, ладони листы, протянутые к самым корням памяти. Кто видел это вчера? Где он сегодня? Отданная на откуп архиву влага. Осенью же что угодно перебирает листья: вечная недостача. Меблировочная музыка могил. Родительный их падеж. Что было бы, спрашиваю я себя, если бы камни пришли на паломничество в мир людей?

Что они забыли? Что вспоминать? Одна печаль — одна радость, я хочу сказать... не могу, получается, нарадоваться их печали,

раз такая разница. Но за спиной — они же, и не сойти за тропу, на которой они стоят. Обходить — человеческое дело, но нет следов. Может быть, человек и не должен оставлять следы: идущий следом — смотрящий в лицо спине. В целости же представляется не совсем так, и все, находящееся за спиной, камнем ложится на плечи. Пусть так — ложится, падает, бросается, точится водой, только не является — таковое явление мучительно, требует иного зрения. Взгляд передается по наследству: Нэлли следила за мной вашими глазами, когда я больше всего нуждался в том, чтобы быть оставленным в одиночестве — теперь я понимаю то, как работает сексуальность, когда чуть повернута на полке самодельная модель самолета — как бы ключ в пустую комнату. Она пришла ко мне без предупреждения, и я не успел убрать следы одиночества, и мы были среди них. Главное, что ей совершенно нечего было мне сказать — еще ничего не случилось, и уже ничего не было, и откуда тогда берется любовь? Завтра я проводил ее в сияющий мороз, и, счастливая, она стояла на моем пороге напротив халата, в который я был обернут, обернутая в то, что я в детстве называл «самокурткой» — примерное чучело с душой человека. Спустя две минуты ее не стало, и я начал думать о том, какова действительная разница между предыдущим утром и этим. Предшествующим и последующим. Всю разницу утянул день — его вечное подобие, свет с его самозваной белизной.

Но я же вам предложил тогда заниматься с ней английским, вспомните! Я позвонил вам с просьбой прийти ко мне на лекцию, и вы явились в пустую аудиторию, полную ничейной мебелью. Я тогда спросил вас в шутку, не желали бы вы прослушать мою лекцию о влиянии Сартра на Лейбница?

Нет, благодарю. Нет на оба вопроса. Я не желал вставать между ними — между Нэлли и Максом, я понимал, что отношения их узкоспецифические и строятся большей частью на несостоятельных уроках, даваемых Максом. Справедливости ради, другим ученикам он дает не больше английского, чем ей: пролетает самолет, площает земля, в воздухе

ничего, кроме моли и молитвы. Жизнь отвлекла раз и навсегда, сказанное сказалось само, ворожба осуждена. Вина не наказана. Разве явь хотя бы издали напоминает слово — я хочу сказать, я уже сказал, на самом деле. Сказочная тень вечно ждет у твоего темного порога, так что ни войти, ни выйти: не выйдет ни вопроса, ни ответа из этих безадресных предпосылок. Нечего ворочать сказанное. Это иллюзия, будто нельзя воротить — можно вполне, и тысячу раз повторить, чтобы во весь рост, наконец, встали между тобой и пустотой большие воробьиные ворота, навсегда открытые. Слово — ранение навывлет, и никогда не задевает ни одного важного органа. С ним нужно уметь работать, как с ускользящим поползновением, давать сырым, как сам неласковый полдник окна. Боюсь, что педагогическое поражение Макса не менее сурово, чем ваше, хотя и другой природы. Ваши руины овиваемы одним ветром — плотным и ощутимым, как платок.

Уже второй раз я слышу об этом платке, возникающем из какой-нибудь глупости. Мое суперэго мнит себя Зигмундом Фрейдом. Все каждому из вас нужно покрыть чем-нибудь что-нибудь, чтобы приблизиться еще немножко к полной невозможности высказать то, что перед вами находится. Вы не сможете описать лица, данного вам вблизи. Куда это годится? Откуда столько суеверного страха перед наличной реальностью? Я буду повторять столько раз, сколько потребуется: меня зовут Макс. Так будет, даже когда некому будет звать меня, и если звучащим будет не дозволяться, останется так же. Мне достаточно понятно, что ваш страх перед названием идет от страха перед тем, чтобы быть — самом по себе условном сроке бытия, ибо подающий голос выдает только себя. Но за кого? И кому? Может быть, имеет место протекторат. Лаковое покрытие пейзажа — и пейзажиста. Все в этом голом виде есть — и человек, и его друзья. Не нужно преувеличивать растянутую до смыкающихся краев вечность гор: кто-то с вершины мог бы точно так же преувеличить оную равнин. И в этом более общем равенстве не будет

изобразительных средств, чтобы от него откупиться. Посему предлагаю ограничиться тремя точками, тремя точками обозначить все, что вы хотите сказать...

Получается колпак. Кого вы хотите околпачить? Вытянутый, как у Буратино, нос, конус конца — это только для ночного кошмара годится или для пульсирующего пробуждения. В свете все это предстает другим образом — полем проигранного сражения, потерянным горизонтом, или просто — нет ничего, чтобы продлить его во времени взамен пространности, не договориться со странствующим торговцем. И то, что идет оттуда, не пугает, потому что точно так же никогда не дойдет до этой ненавязчивой подробности — смутной палатки, чьи стороны равны, как соединенные в мольбе руки. Не дойдет дела: до последней детали, дальше которой не будет места сомнению, до реки, до мне — дательные падежи паломников, безымянных между нами. До вещей в их последнем описании и равнодушно отблескивающего пианино, под высокий рев владельца не вылезавшего из выходной двери. Может быть — как раз из-за этого невылезания, из-за невозможности вытащить на пустую улицу выращенное в помещении имущество. Я протестую против того, что не могу прийти в соответствующую себе инстанцию и выяснить, каковы условия проживания Нэлли сейчас — в душе я требую ответа на то, как проходят ее дни и ночи, каково питание. Я имею право все это знать, но если единственное место ее исчезновения — в прошлом, и не выпускают детей за узкую территорию повторяющегося, как на допросе лжец, пансионата, то мое посещение будет сродни визиту в инстанцию выходным днем: только уборщик, только швабра. Только история про незакрытую с вечера дверь и страх перед поселившимся грабителем — предшествующий истории, которая подтвердила его с мистической точностью, утвердив. По этой тверди можно без риска ступать. Неужели это и есть то, что предшествовало ее смерти? Все это — от зеленеющего дерева на точном небесном фоне, до на фоне леса — густого, как масло, водоема.

Вы пытаетесь поймать ее в эти сальные руки — бывшего и оставшегося, но у вас получается раз за разом прощальный жест правши. Кто отличит, если не смотреть в оба, две эти руки, протянутые в удостоверении пустоты? Точно не обращенный лицом к стене — в наказание за вину, вменяемую нам с уверенностью асфальтоукладочной машины. Ничто автоматическое не чуждо, и все просится на руки — вечное детство дебила, выросшего в смерть. Вы не боитесь поймать нечто подобное? Уверяю вас, что вероятность существует. Только тогда вернее будет сказать, что это вы попались на собственную наживку в собственном заросшем саду — ничего несобственного не будет в машине, переваривающей вас в себе своим машинным маслом. Вы успеете подумать — никакого вкуса, ничего не чувствуется. Только белок. Его самозванная белизна.

Во рту, а не в руках. Сколько таких проглотов уходит ежегодно из вопросительных зданий? А между тем я совсем не знаю, что подобного можно сделать в ситуации, подобной нашей. Не потому ли нам разрешено говорить? Я сегодня подозрителен. Нет ли на мне вины? Я ушел от ответственности, я оставил включенным свет в спальном комнате. В чем именно вина? И все бы ничего, только не эта мысль — что наказание окажется настолько же неопределенным, насколько неопределенна провинность. Может быть, сам чай с имбирем, любимый мною — и есть кара, посланная мне, как декабристу жена. Или пребывание с Нэлли — в одном усеянном следами арт-кафе, где говорит полувивший слово:

— Не в том суть, чтобы напугать кого-то или обидеть. А в том, чтобы стала очевидной красота — мы будим не спящих, а слепых, и эта разница мне очевидна. Не для того мы собрались здесь, чтобы осуждать тех, кто нас непременно осудит. Наш огонь — это огонь наших глаз, и ничего разрушительно в нем нет и не может быть. Я вышел из семьи, которая закрывает на ночь все три замка на каждой из трех дверей, за которыми ничего нет. Я знаю, что такое бояться собственной тени больше, чем злодея

на длинной и узкой дороге. Знаю, что такое быть поставленным раз за разом на место, и всякий раз ощущать, что это разные места, находить поблизости новые и новые предметы, все с большим трудом расчищать себе сквозь них дорогу к свету. Мы себе не родня. Кто станет нам родней? Уже вижу, как кто-то с неохотой, но решительно поднимается с места вместе со своей курткой: он? Или она. Неважно. Мне всего лишь нужно, чтобы был рядом человек, с которым можно идти вперед ради взаимного дела.

— Парень или девушка?

— Не имеет значения.

Кружок анархистов сужался до герметического. Рядом виднелась темная доска, на ней черным написано: «Все, что тает, становится снегом». Случалось порой, что приходил один и курил в гостеприимное широкое окно. Тогда — откуда фотография? Но в том и дело, что она дана нам со слов — все более чужих, более далеких. Раз за разом настигает углубляющееся отчаяние от понимания того, что совершенно все было уничтожено в том неискоренимом огне.

Но дна не видно. Я не стал бы называть отчаянием то, что бесконечно модифицируется в своих признаках. Это скорее напоминает мне то разноцветное отчаяннице, которое рождалось во мне, когда школьница, в которую школьником я был влюблен, пряталась за спину другого школьника (можно ли открыть уже школу, с такой концентрацией?). Макс, я должен тебе сказать, что тогда принял говорящего за тебя, но теперь не могу, конечно, представить, как я мог вас перепутать. Переданное тобой, кажется, совсем не заключает сути того, что наплел этот задним числом убежденный девственник. Однако переданное тобой ужасно моему — своей выпрямленной во весь рост ложью оно не повторяет ужаса правды, но умножает его в адском калейдоскопе. Я боюсь проснуться однажды и без всякого ночного огня увидеть, что он — единственное место, где теперь можно найти Нэлли, и что вызволить ее оттуда уже нельзя.

А если бы и можно было, то для чего? Для чего иного, кроме сокрытого от меня — все-

го, что дано мне видеть только при выключенном свете. Передо мной, как в гадальном шаре, на поставленное место встает надпись, состоящая из тысяч и тысяч знаков: это статика, даруемая только самому дотошному изображению. Мало-помалу достигается переход в новую, ни с чем не сравнимую, степень к нему доверия, и когда это мельчание шагов становится ощутимой неспособностью двигаться, ты понимаешь, что это и есть то самое доверие, уже это. Этот порог и есть — переступание его. Это понимаешь ты, а я понимаю тебя.

Почему тогда возникает эта (всегда личная) неловкость при описании событий и предметов? Что скрывается за этой оскудевающей течью — и что ты за ней скрываешь? Одно ли это и то же? Не различить два этих безразличия по отношению к настоящей наличности — даже той корочки, по которой они узнаются в своем равнодушии, но не равенстве. Медный мой обруч улепетал и уже висит вон в небе, словно в бюро находок. Солнце или луна — не важно. Ни луны, ни солнца... они собраны в одном архиве (примерочной?), где бесконечность материала все выражает и выражает подобия, стремясь в один минувший день произвести себя, как на сцене фурор. Я видел нечто похожее, но не то — на глазах теряющее в деталях, действие с прохудившимся дном. Что остается в конце? Машет над водной гладью согнутая сабля — только чтобы затеряться в среде родни, как преступник. Но ничто из этого не переступает порога мира, которому мы даны в качестве смерти — такая легкая смерть, как будто не с тобой все это, и без тебя. Вроде как возвращение по собственным следам к истончившемуся источнику света. Но тогда что-то другое дает нам эти силы идти назад — не причины, но следствия, ожидающее нас по возвращении — в самом источнике истончения, сточенном камне краеугольности.

Известен древний, как мой отец, анекдот про то, как взяли автора рукописи. На допросе его убили, так и не сумев выпытать рукопись. Позже им (а заодно и окруженной действительности) стало известно, кто

именно был взят — спившийся прозаик, не написавший за десять лет ни одного литературного текста. История из разряда о том, что посмертное стихотворение Есенина могло быть написано убийцей. Но это — из другой оперетты, не я это выдумал. Мною придуманы другие подкладки, которые до сих пор позволяют (позволяли) мне говорить. Странное дело говорит Витгенштейн — строго говоря, мы никогда бы не знали, о чем именно невозможно говорить, если б нам не сказали. Не исключено, что сейчас нам пытаются продемонстрировать: на самом деле никакой возможности обойти молчанием бомбу, заложенную в неуспевающих остыть следах. Может быть, только само остывание уберегло бы от гибели, но нельзя идти по земле, не оживляя мертвых. Этот юродивый въевшийся императив, выбросить его с одеждой, но все же... все же остается — прилегающая к телу способность ощущать тепло и даже ту частицу света, которая как бы знает о существовании не только тела, но и его смертной муки, которая не только начинается, но и заканчивается чувственной радостью, и только в середине, в этих объятиях, та со дна прохудившаяся пропасть, которая и останавливает мысль. Но не в мыслы дело на самом деле...

Если только ей не удалось дойти до того предела, где впервые возмнилась возможность отшатнуться, испугаться всему и сразу пройденному пути — в сороковой раз без прикрас. Все прошедшее оказывается само — краской, соскобленной с заказного заката. Все закаты по цене двух. Если мысль обратима, обращена на себя и способна проникнуть этой обращенностью, как цветной маркер, слабую бумагу пройденного ею, оставленного в покое — то не этого ли признания от нас ожидают на устойчивых постах по всему знакомому ей пути. Они и сами уже — часть этого знакомства — учтены мыслью и тем признаны. Они и есть — признание, которого требуют. Что еще, кроме спитого чая бытовой подробности?

Не забывайте, что кровососы по старой памяти в зеркалах неотразимы. Видно только себя и несмываемую родинку. Неужели

она — и есть причина того, что Нэлли предпочла тебя? Думаю об этом в миллионном ряду остальных причин. При всем их количестве, до неба они не доходят: меньше всего я верю в безусловную любовь, которая сама себе якобы служит основанием бытия. Главное, что смущает меня в этом (и мешало бы жить, если бы регулярно не отmetalось), — это непонятное свечение между двумя этими стертými руками. Какая-то подмена в этом есть. Напоминает мне «Сон смешного человека», где отчетливо бывает видно, что не в подмене внутреннего внешним проблема, а внешнего внутренним — мучительная гомункулизация окружающего. Давно пора понять, что человекоподобие не роднит нас с горбатыми носами гор, но обрекает на сосуществование с прямоходящими чудовищами, населившими каждый угол круглой земли. Мир возвращает человеку все его копии, и это меньше всего похоже на паломничество. Скорее — обратимость, самообращенность неопита. Как оставить за собой это право — смотреть назад, если взгляд и без того прикреплен к этому заду, как фотография к документу?

Нет никаких проблем, если это право — единственное. Нельзя зато запутаться в паутине вязи — право иметь имя, право не иметь имени... все это так утомительно на самом деле. Не лучше ли подобное: сказанное приковано к говорящему так, что каждое слово становится именем. Не этого ли от нас хотят — списка имен? Без нашего, конечно, но каждое становится нашим. Опровержение становления — длинный и замороченный комментарий. Позволим ему запутаться в собственных щупальцах, упасть на дно собственного океана. Я отказываюсь сходить с назначенного мне и, мне кажется, тебе самому самое время принять тебе дарованное. И не нужно думать, что это смирение тебе даровано — никому не дается просто так способность обходиться без насущного. Страшны не сами по себе три сосны бытования, но — когда задумаешься, что и их не будет. Тогда зато нечто должно стать ясным, но для кого — тогда (отсылка к небывшим временам)? Кто бы приблизил человека

к инструментальному совершенству, прежде чем спрашивать с него функциональность? Я запутался в обобщении, я погиб. Ты думаешь, что Нэлли — это так легко. Но на самом деле, кто сказал бы тебе при ее жизни о моем бесформенном страхе перед ее умудренностью, врожденной с единственной целью — судить мою наготу до самой смерти, судить на смерть. При выключенном свете — и все равно недостаточно укрылся в уголке восходящий носок — она смотрела так, будто это еще не все, но это было все. Хотелось снять еще и кожу, и группы мышц, чтобы она удостоверилась в моей мужской, человеческой, случайной природе. Вплоть до отсутствия плоти — черепа, с радостью родителя удостоверяющего — это была просто шутка, никакого подвоха теперь нет. Если включить свет, то ничего не останется, страх уйдет собой — ему знакома дверь, которой он ходит. Я говорил ей тогда нечто не более реальное, чем сейчас оно выглядит в моей памяти и на случайной бумаге. Я готов это подтвердить, но это не следы — они неуследимы. Вся твердость — в странствии между двумя химерами: неповторимостью с повторением. Первое повторено кем-то — в твое отсутствие, множество раз, и в этом только и есть ее спасение. Кто они? Вот аквариумная свежесть влажной кофейни, в которой мы ждали — кого и чего? Зашел к нам вышколенный иностранец, спросив с собой эспрессо. Нэлли без любопытства смотрела на него, и, как старое серебро, тускнел летний свет (облако переходило старую дорогу). В окно нам была видна проезжая часть и узкая тропинка тротуара, на котором в своем праве стоял велосипедист. Это что-то дало, и что-то дает теперь — в понимании того, что такое эта проезжая часть, но не в целом. Вот диск луны. Где ее остальная часть? Не оставляйте на дороге и уносите с собой свои распущенные разутые глаза. Все это невозможно вернуть — в том смысле, что нельзя высказать в глаза все, что о них думаешь — об этих круглых бегунах. Я сижу один, и мне звенит колокольчик входа и выхода — не мне, но тому, кто здесь работает. Я не работаю. Во мне зреет жела-

ние побега, но вид из окна так и останется плоскостью. Из уборной вернулась Нэлли, принеся ее блеск с собой: говорит, что я не должен переживать ее уход и что нельзя отменить то, что уже случилось: «Сделанного не воротишь. Теперь всё». Это она говорила о тебе — не знаю, что она тебе говорила. Наверное, что-нибудь по-английски — как-нибудь плохо. Главное, что я ощутил со всей тяжестью бессмыслицы — ее одиночество, собственную неприглядную даль, твою неспособность узнать все это даже теперь, когда тебе сказано. Не могу найти, чем заверить эту оберточную бумагу: может ли состояться плешивый куст возле кассы, повернуть ли его боком? На дне чашки уже не оставалось ничего, кроме ровной гущи. Что я сказал тогда — может быть, ничего, но ее уже не было: снова не удалось говорить ни о чем общем, а ты оказался всего лишь частностью, случайной целью, созданной поражением. Зато как легко мне было в эту минуту — секунду, половину секунды. Я вышел, и мне было точно ясно, куда идти — с Нэлли такого не бывало, курс всегда сбивался и становился падением в те или иные освещенные данностью места. К примеру — крушение надежд в арочном парке или рыхлое скольжение в морозном гипермаркете, где даже эхо казалось тебе простуженным. Сквозь это эхо мы шли, как другой звук, до выхода, где сменялся смех и ширился рынок, в воображении сужаясь. По углам загорались и не могли вызвать пожар светящиеся шары, устаревали плоские, как клопы, телефоны. Я купил зато, спрятавшись от вас (статичных), мягкий светильник на батарейках. Думал (и думаю) о том, как характеризовать открытое пространство — в каких заведомых сферах заверяется его открытость, и как ждать от него новых открытий, когда ясна недостаточность оснований. Пробежал стремительный слух о том, что среди отмеченных слухом завуалирована знаменитость, и тогда передо мной в профиль возник знакомый образ — человек покупал у невозможного ростовщика собственные диски. Все было не то и расступалось перед молчанием, как двойной ветер. Теплота рассеивалась, и

становился ясно, что ни сейчас, ни когда бы то ни было не удастся собрать по частям открытое пространство, выпустить в него вечную толстую узницу. Архивы растрепаны, как голова арестанта, но кто в этом виноват? Где видано, чтобы кому-либо было поручено охранять собственный архив — что угодно может произойти в жизни человека по его воле, включая и побег из архива.

Но тогда это означало бы прерывание записи и фактическую смерть. Кто перечитывает распорядок дня перед тем, как перейти к существенному, которое — всегда под рукой, всегда — рука. Важнее сказать, что и я сам не мог (но и не хотел!) сказать ничего о пространстве — прустранстве, как говорит (кивает) Манус. Просто Нэлли была при мне в этот момент, и он действительно был статичен, как ты угадал. Но статика не должна успокаивать нервы, Артур, ибо мы темнели на зеленеющем возвышении, вдали от цен, и я приглаживал ее исчезающее платье. Что приходит в движение само, не сумев сдвинуть с места становящиеся тени следов? Ни одному из нас двоих не было дела. Но, может быть, дело начинается ближе к земле — муравью с муравой, еще более гулким и слабым впечатком того, что есть. Так любой из звуков с легкостью бывает сердцем — собственно легкостью, собственностью, как сама гладкость беглой капли, блеклой в сравнении. Становилось не видно того пальца, который указывает на небо. Между тем никуда не девалось тепло — как если бы вывернули куртку, читаемую с обеих разворотов. Может быть, все в мире — от его неумения выразить любовь к человеку, затерянности в дальних догадках о том, что ему нужно, неизбежности и невозможности прихода второго, который всегда оказывается третьим, и становится ясно, как поздний час, что до этого третьего был разговор с кем-то вторым — прерванный грубо и без должных оснований. А впрочем, предъявлена бумага. Сыщи теперь источник света — помимо проходящего парохода, на удалении разложенного по цветам, один из которых — часть воды, разбуженная жестко, но как бы изнутри — неизвестно, чья

это жесткость, воды или обращенного к ней. Кроме этого — что? Вывернутый карман и — скорее в ожидании — блеск мелочи. Общая же картина — на стене, она — стена. Картонность ее и картинность — но она всегда в лучшем виде, обращена лучшей своей стороной к лицу. Тщетно выворачивать ее карман, уже понимая вполне, что искомый блеск мелочи — и есть блеск отличия, которого не будет. Но известно, что посреди лета — не временно, а пространственно — и всей его лиственной нежности затерян этот кармашек, как последнее препятствие перед искомым и перед тем, как понимаешь, что оно и есть — искомое. В этом нет поражения — или есть, но совсем немного, такое легко вынести. Однако изнутри — снова то же. Снова — теперь уже можно сказать о том, что это — скользящая вдоль глаз слюда поверхности, вечность, данность. Я снова выхожу сухим из воды, возникаю перед парадом лиственниц. Но доволен и этим: мне мало было бы знать Нэлли с этой стороны, я хотел бы полностью управлять ее телом — разминать боксерскую перчатку сердца, орудовать клапанами желчи, краниками слюны.

Может быть, это оборотное желание самому не быть, чтобы кто-то еще был, как раньше, до того, как пришла эта поселившаяся до краев мысль. Иначе как объяснить подобную голую самоотверженность?

Разве что тем, что появляющееся там или тут лицо можно было бы назвать смертью. Человек удивляется, и потом, когда удивление расслаивается по ее телу, расслаивает само ее тело, приходит в норму — к мысли о настоящем. Ну а тут — всевидящий спрос, как на осветленном рынке. Только в памяти можно было придать рынку те или иные очертания — в искусственном освещении, предающим предметы, но кто и когда обещал кому подлинность подачи, ведь вопрос не в том, чтобы сказать о чем-то прямо, но как бы то ни было. Например, я не мог придумать ничего из того, что можно было бы рассказать Нэлли, — кроме истории о происхождении того, что происходило вокруг нас, как если я бы я вел слепую по темнею-

щим дворам к ней домой. Там я увидел, как из двери в дверь переплыл без очков Манус и потом не вышел из двери.

Я вас не видел. Как вы понимаете, я не видел почти ничего — даже дверь впереди меня рисовалась с предыдущей, сунутой мне вплотную. Мне не очень к лицу показываться перед студентами в подобном виде...

Подобном тому, в каком вы сейчас, вы хотите сказать?

Артур прав, я действительно не при параде нынче. Однако я в своем домашнем праве, в знакомом помещении, а вы — мои гости. Макс, покажите нам, где была поставлена палатка.

Прямо здесь — на фоне кухонного стола, рядом с неухоженной столовой ногой. Утром вы об нее споткнулись, сотворив эффект вихря. Мы с вами неплохо посидели тем утром — Нэлли ушла загодя, не разбудив ни одного из нас. Речь шла о моем категорическом непонимании — вы все пытались уточнить это ваше высказывание, но, по-моему, вам это так и не удалось...

Напротив — я прекрасно помню, что вот здесь, за этим столом, в заочном присутствии Артура, я говорил вам о непонимании императивной модальности и о том, что все заключено во всем, даже в холодном чае. Если бы вы тогда рассказали мне — в тягучих перерывах между глупостями — об огневых водах, то мы бы дождались Нэлли, спасли бы ее.

Но ведь любое мое заявление вами грубо опровергалось, вы вспомните. Вы и от этого бы отмахнулись так же, как от моих слов про ускользание ваших категорий от любого захвата — самые простые вещи у вас высказывали, как между парами студент. Даже сейчас вы не хотите признать, что с Нэлли происходило и произошло нечто существенное и отныне не очевидное — просто потому, что закрылся вопрос об ее жизни, а открытый касается только нас двоих — даже Артур отошел в гостиную поискать кота.

Его нигде нет. Манус, я слышал о планах избавиться от Мухтара, однако не верил, что подобное возможно. Главным образом потому, что, когда я приходил, его нигде не

было видно — он становился мебелью и блеском углов, как после смерти — моя круглая собака. Стоило теперь мне понять, что его нет совсем, как сразу бросается в глаза отличие его от фона, в котором он затерян. Я думаю, Макс, это имеет отношение к тому, чего от тебя хочет Манус. Сделай из сказанного мною некий вывод.

Было бы слишком просто перевести пустоту в абстракцию. Вы ждете от меня невозможного.

Это было только предположением Артура — не стану его подтверждать. Однако я видел кота накануне — вокруг тлеющих гостинных цветов, развернутого кресла. Не хотите же вы сказать, что я все это придумал — такие подробности... в игрушках всегда ценились детали — и в моем детстве, и в вашем. Темные ноздри кукол, лакированная спина ящерицы, узкий прицел ружья... все это как будто готовилось к забвению, представляя его себе в виде настойчивого агрессора, знающего слабые точки вымышленного — его замысел, но главное — его цель: существовать во что бы то ни стало, оставаться на месте. С каждой лакомой деталью пупс становится все более правдоподобным, становясь при этом все большей ложью. Стоит ли после этого удивляться, что говоримое кажется настолько невероятным, что нас раз за разом бьют по лицу, как собак. А главное — кто бьет? Все та же явь, не узнающая себя в наших рассказах. Может быть, попробуем уточнить хотя бы что-нибудь — пусть самую незначительную мелочь, и тогда нам засветит отсрочка, поспялятся секунды и минуты молчания.

Следует признать, что вы не всегда получали всего, что заслуживали — и я говорю о побоях. Молчание тоже не гарантирует ничьей безопасности — приходя только к личному, само разоблачение, свет в его изначальной тревоге. Говорун разоблачает себя в третьем лице — но это уже одно оберегает его от ответа, которого ждут от одного и того же, иначе бы не было возвращений, которыми и кругла земля. Хотят признания в том, что ты и есть — говорящий, чрево вещатель. Другими словами, умеющий рассказать историю.

Других слов нет. Другие слова — уже другая история, моя или ваша, но не история Макса, к которому вы обратились так легко, что мне захотелось за него заступиться почти впервые. В одном я с вами согласен — и это позволит нам говорить о двоящемся, не позволяя ему ускользнуть в трещине между этими двумя: что требующий требует не просто подлинности, но — чудесного единства, требует гения, я бы сказал — так, как если бы это было просто признание в генетическом родстве с тем далеким, находящимся от вопроса на расстоянии протянутой руки, остающейся в ожидании. Всегда возникающий у меня вопрос — просит ли она, дает ли — это другой вопрос. С пустотой так постоянно. Главное, что оба понимают лучше, чем оно есть на самом деле — молчание хранит только мертвых, оно неотделимо от них так, что сама категория его рода двойственна.

Я спрашивал мертвых, больно ли им — они не сказали нет. А если все же вывернуть это — снова проделать работу, всегда выпадающую из моих рук — вывернуть в сторону живых, самой жизни (поскольку сквозь наволочку неразличимы предметы), то окажется, что они и состоят в приближении к этому молчанию — во всей уверенности, что оно не позволит нарушить себя никакой силе. Ситуация, подобная той, когда я на две или три минуты задержался возле дикого ручья — с уже мытыми руками и освеженным лицом. Голоса, которые окружали меня постепенно с некоторой повседневной отрешенностью, принадлежали Артуру и Нэлли. Главенство над ними с уверенностью держал овод — возле уха он внезапно возникал в точечном величии, как если бы тебя тщился разбудить мощный будильник. Вокруг колыхал лес, будто в ожидании чего-то еще более экстравагантного, чем он сам. Спускался с высокой дороги Артур — обладатель тертой куртки, универсальных брюк. Нэлли при нем не было.

— Где бы она могла быть? — спросил я тебя тогда — с ненавистью, если ты не слышал.

И она была над нами — крикнула, что мы похожи на фон. «Фон чего?» — спросил я

е некоторое время спустя, когда ты пошел отлить и заблудился. Она сказала, отмахнувшись от медленного комара — на фон как таковой, без уточнений.

Я знаю, чего — я забрался на ту высокую возвышенность, и все видел. Мне было дано увидеть нечто незабываемое и вполне определенное — как вкус карамельки (бывшей у меня тогда за щекой) сохраняет нечто, кроме сладости, и после того, как сладость уходит вместе с ней. Я спустился без всякого желания видеть вас, Нэлли — особенно (Артур разумеется собой), и только страх перед возможным между вами кустарным половым актом заставил меня к вам вернуться.

Медленным было возвращение — запомнился почти двумерный знак распятой на дороге Нэлли, ловца круглых автомобильных экзemplяров. Два раза останавливались, но, заметив дополнительных оброслых фигур, сворачивали. Наша одежда в тот день отражала все смутное разнообразие городской культуры, зато гендерный нейтралитет Нэлли был выразителен — он выражал это наше разнообразие, наше ни на чем не основанное отличие друг от друга. По какому праву мы занимали эти взаимные места — и главное, не разобрать, чья еще воля оказалась подавлена этими соприкосновениями отчуждений.

Наверное, так принято говорить о поколенческих стереотипах, стереоустановках и стереоочках. Ничто из этого не подлежит нежности и не приемлет ее — так, как не принимает ходульная молодая женщина, когда настанет день столкновения двух чудес — ее неприкосновенности и чьей-то жалости, кого-нибудь, кто ее достоин — жалости, я имею в виду. Сказать и об этом тоже — и это предать мгновенному огню узнавания, просто потому, что взгляд — и есть огонь, так быстро сгорает все, к чему он прикасается. Что касается Нэлли, то мне было сказано забыть — из первых уст — о том, что было, но не было уточнений — касалось ли это ее белых чувствительных ступней или того, как она вставала на цыпочки — для и длясь, как бы дотягиваясь до висящей на ниточке звезды. Это было, по нашим меркам,

до начала времен — до появления Артура. Мы ждали на пыльной обочине звездопяда, отъехав в автомобиле Мануса в далекое от людей место, где кого-то вроде нас ждали уже гопники. Я не отдал ему ничего — как будто еще ничего не было в карманах тогда, до старта истории, и мы убежали, спотыкаясь о неровные камни — мелкая моторика дороги. Нам пыталась наискосок отрезать путь серая куртка, но что-то поймало ее, вклеило в мутную полутьму ночи, и мы бежали без всяких помех — до тех пор, пока не обнаружилась всегда бывшая трава, и блеск желания, до сих пор похожий на блеск проезжих фар — так не отмываются в воде руки от масла. Может быть, сам этот блеск мог бы теперь, когда до невозможности суживается зрачок желания перед неразличимым лицом света, ставшего всем, мыслью о машинном желании, направленном не на нечто внешнее, но на собственную природу — желание в поисках желания, погоня огонька за огоньком. Что должно произойти, чтобы нерасторопный наблюдатель поверил в реальность этой погони? Единственное, что приходит в голову, — бежать, со всей возможной убежденностью в дороге. Ибо дорога появляется под ногами бегущего. Однако — что если догоняющий, дышащий пистолетом в затылок, не хочет ничего спрашивать, а хочет поведать что-то, что стоит знать? Как это узнаешь? Нельзя увидеть лица преследующего — иначе и он увидит твое, твою тревогу, но хуже того — твою радость, всю твою жизнь, каждую твою фотографию. Я поймал себя на мысли — уже когда над нами высилась различимая трава и мои руки в темноте узнавали новую Нэлли, что не помню ее лица — так, если вплотную приставят твое лицо к стене твоего дома, ты увидишь только неровную гладь мертвого моря. Близкая подробность быта, материала или тела возводит тебя к опасной высоте обобщения, сокрытое в темноте оказывается переключателем света. К слову о предмете нежности, способной с вершины узнавания дотянуться до слепящей новизны и полной неповторимости. Может ли за это быть соразмерное наказание?

Ответ виден невооруженным глазом. Вооруженный ответ: знающий подробность сам виден в подробностях — его личность отныне удостоверена. Любовь — строгий немецкий учитель с голубыми глазами. Теперь я знаю, кем были те пьяные фигуры, которые отшатнулись от меня с дороги, когда я ехал их искать. Макс, вынужден сообщить вам, что почти все, вылетающее из вашего рта, не делает вам чести. Артур, я все больше склоняюсь к вам в качестве оптимальной партии для моей дочери.

Артур, похоже, тебе обещают смерть. «Дорогому Артуру, с пожеланиями любви и смерти». Меня же, видимо, планируется отправить в три ссылки, каждая из которых не будет отличаться от двух других ничем, кроме двух или трех деталей, заимствованных из какого-то четвертого места — где все они соединены так хорошо и плотно, что вызывает сомнения в реальности этого места, но не в реальности трех других, которые, уж конечно, объективны — видны с высоты полета, формируют треугольник голого пространства. Хочется сказать — на этом пространстве может быть жизнь, это можно освоить, но стоит спуститься, и видишь — уже есть жизнь, и другой быть не может. Остаете утешиться обратной синевой.

Будет ли она прежней? Скорее всего, теперь она будет напоминать по цвету увиденное тем — землекопом, похоронным червем, занимающим и расширяющим в глубину дно этой ничем не наполненной бочки, сплошь состоящей из просветов, как бы насквозь рассмотренной пулевыми глазками, в итоге своем — прозрачная, как дело об осужденном без вины. Следствие в поисках причины. Ведь эта самая прозрачность и кажется сверх мер непроницаемой — когда говорят о судьбе в смысле пологого полета, походя собирающего горсти и гроздь изъязнов, деталей, свойств... в этом полностью освещенном окне не видать отражения. Ничто не накладывает на события отпечатка личности — разглаживается ткань событий, накрывается стол памяти. Кто во-круг? Одна только цена молчания.

А по мне, так отличный тост произнес над нами Манус. Где была ваша находчивость во

время Нэллиного дня рождения — быстро скисшего, как настоящее молоко? Кое-кто из нас подарил светильник — он был настолько удачной догадкой, что совершенно совпал со светильником, купленным самой Нэлли за год до того. При этом — от парадного входа, до черного выхода — было развернуто поблескивающее пространство дачного дома, с усилением скрывающего свое близкое знакомство с белкой и мечтательной плесенью, помыслами устремленной в будний сад, где росла, не зная об этом, бледная, как с восьмидесятой фотографии, красная смородина. Пространство было до потолка заполнено — не людьми, но тем, что их неразборчиво, но прочно связывает, лестницей подобий, уходящей в потолок. Некто посетил мимоходом, преподнес обеими руками робкую коробку — никто никогда не узнал, что в ней было. Еще кто-то из отверженных не показал и лица, утвердив центром гостиной некий плод скупого воображения (одиночный пакет). Все было в самом начале дня — был только я в озирающемся доме, и немножко — Нэлли, вспыхивающей вокруг, как края страниц, когда читаешь пространное описание, и кажется, что оно должно закончиться чем-то страшным — трупом, взрывом, и потому не закончится никогда. Отчего-то пыточные инструменты не учитывают факта о том, что факт сам по себе есть не время, но пространство — лучше всего это знают полицейские, сооружающие место преступления, в то время как повествование так же временно, как сама жизнь.

В то же время необходимо располагать данными о том, что факт в этом своем пространстве более точен, чем любой сказ о нем. Пространство речи есть сама речь, сличающая себя только с вымышленным прошлым, в то время как факт есть факт — пространство пространства.

Почему эти ваши переходы кажутся мне переходами ко все более мелким, более темным сферам? Получается какой-то решительный верлибр, стихотворение соревнуется в темноте с читателем. Не проясните ли хотя бы что-то, хоть что-нибудь? Недостаток точности, Макс, — вот этого я в вас

не принимаю. Вам кажется — что угодно может быть выведено из чего угодно, но вы лукавите, ибо что угодно — это Макс, Макс и только. Никаких Нэлли, никакого Артура.

Никакого Мануса, строго говоря.

Это — дело десятое. Мне легко представить себе жизнь без меня — кладбище без моей могилы. Процессы брожения и тому подобные тома. Но моя теория порождающей пустоты не только переживет меня, но и предшествовала мне. Я хочу, чтобы вы это поняли — я не лучший на свете лектор, но это именно потому, что и сам вижу только малую часть того, с чем имею дело — ежедневно, ежечасно. Меня бьют в лицо, но я не могу сказать короче о том, что по своей природе длинно.

Но не страшно ли, когда за вас заканчивают начатое вами — так давно, что вы и согласиться готовы с тем, что конец стоит начала? Финишем обычно становятся два слова — имя и фамилия, что и есть во всем, сказанном выше, — главная новость, эта подпись, поставленная кем-то анонимным. Уж ему-то легко бросаться такими словами, как громкие имена. А в могилах переворачиваются те же, кто переворачивается в постели — видящие кошмар, быть может. В остальном — полноценное спокойствие, вряд ли какое-либо из тел станет реагировать на такую мелочь, как некогда — имя, теперь — пустой звук, полнящийся, как и тело, агрессивной жизнью. Одно следует помнить — ни при каких обстоятельствах не ставить подпись, пусть сказанное переходит к слушателю, во весь рост становясь его проблемой, и не стоит двойной преграды — разделяющей стены с возможностью стучать, но без возможности открыть.

Однако эта невозможность как бы сама собой разумеется, конечно. Иначе зачем стучать, если там — никого, и если ты — здесь, вместе с собственной потребностью войти. Я только хочу сказать, что эта невозможность сама по себе не является открытием и требует субъекта — кто и на что направляется, но ведь это и есть картина двойного самоубийства — не знаю, думали вы об этом в подобном ключе или нет.

Двойное ли? По вашей логике получается, что оно — все-таки одно и то же, просто обернули стену, увидев на месте портрета заросший дичью пейзаж без возможности его припомнить, но главное — вспомнить потом, когда увидят снова. Только что-то сперва смутное, а потом — вызревающее в отдельную зелень тени, становящееся определенным, как лицо жены, однако то, чего искала память, — за спиной, о нем нет догадок, как о хорошем подарке, сообщаящем человеку о нем то, что им наполовину забыто.

Примечательно, что при этом оно не является оным, иначе было бы не миновать встречи — не разминуться во мраке двум автомобилям одной марки. Кто отличит виновного? Никто не остался в живых — это отметить особо.

Обычный сценарный штамп, призванный склеивать разваливающийся комок событий. При наличии глаз невозможно в такое поверить. Судите сами... но обстоятельства дела туманны — к тому же видные фигуры увязаны в нем. Это уже не туман, но — ночь: одна звезда за другой. За другой, но кто отличит эту отдаленность от той близительности — как отметить в чужом лице подступающую грусть? Разве по все большему отчуждению. В редком вечернем гулянии каждому оказывается отведена доля покинутости — так осваивается праздничной толпой знакомое нам по рассказам пространство. В своей мести зрячим темнота не нуждается в убийце — за пнем возникает пень, и за пнями не видно леса.

Работа еще не закончена — я предлагал произвести систематическую вырубку деревьев, чтобы, наконец, лес стал виден. Недостаточно еще приложено стараний по выработке метода, согласно которому все предстает в сияющей ясности обобщения. Оказывается, что рассвет виден только потерянной в лесу человеческой единицей, про которую было сказано, что она отбыла домой.

Я говорил с тем человеком — к нему тоже прилагалась моя ревность, но при свете дня глаза его оказались тупы, а нос

широк. Он говорил мне о том, что зрелище полноты оказалось чем-то исключительным, и он лениво перемещался в сторону дачного дома, однако вышел на проезжую часть, где его мгновенно, чуть не против воли, подобрала направленная в город попутная машина. Оставшиеся были молчаливы, и только Манус развлекал набирающуюся пустоту рассказами о ней.

С вашей подачи, Макс. Вы попросили объяснить основные положения, и я был обязан без всякого желания вести вас вдоль огорода — к умирающей изгороди, где я, впрочем, благодаря экскурсии обнаружил дружную тлю. Правда — и я говорил вам это, как говорю сейчас — было подробное ощущение простоты и почти родственной радости. Казалось, что какая-то солнечная линза собирает мою жизнь и становится ею без всякого усилия. Я согнулся в дугу, чтобы достать из-под листы цветущую ягоду, а когда выпрямился, вас уже не было рядом. Настроение мое не ухудшилось, даже мелькнула мысль — вот он (был), мой мудрый хранитель, терапевтический агент. У вас, конечно, полным ходом шли поиски Нэлли...

Нетрудно было ее найти в съездившемся, как от холода, доме, где уже все мне было знакомо до ужаса — никогда раньше не задумывался, откуда берется этот ужас перед знакомым, но теперь — да: не потому, что ответ найден, но оттого, что перерыты помещения, вывернуты карманы вероятностей, найдена иголка в стог сена. И до сих пор передо мной склонившийся старик вопроса, как если бы ответом были всего-навсего уроненные очки. Нэлли спала в гостиной, как гость, и я не сразу узнал ее: глядя на ее закрытые глаза, было невозможно поверить, что они именно того цвета, какими я их запомнил. Я до сих пор думаю, что только заочное знание о том, что должна быть она, убедило мое зрение — но для этого ей пришлось пробудиться, от моего тупеющего взгляда: шанс на спасение сгорел, ее лицо было ясно. И вы не поверите, что я сказал. «Кто у нас умер?» — сказал я.

Бросьте! Я и сам порой принимал ее за свою жену. Мне кажется, ей это было при-

ятно — по крайней мере, она каждый раз спрашивала, слышал ли я что-нибудь новое, и я говорил ей о том, что ничего. Каждый раз казалось, что вот-вот должна была появиться — пройти через всю безразличную комнату, чтобы забрать из зеркального шкафа пылящий дождевик. И потом — будто не суметь найти выход без посторонней помощи, ждать которой неоткуда, потому что ничего постороннего нет в квартире. Не за что зацепиться — нечем бросить в проходящую тень, и она проходит во всем достоинстве, на какое способно небытие. Иногда вся эта подробность оказывалась сном, и я спрашивал ее, где она, и она открывала рот — для крика или ответа, но я уже бодрствовал. Нэлли спала — нам больше всего нравится представлять ангелов спящими, на всякий случай. Не видеть крылышки писем за их спинами. Не зная ответа, она не умела его уберечь, и я его узнавал — так специальные слуги при дневном свете проверяют письма на предмет ядовитых чернил. Я открывал окно и делал в гостиной едва заметные перестановки легкой мебели — от парящего стула до похожего графина, который, где бы он ни стоял, всюду создавал впечатление угла. В целом было ощущение того, что кто-то пронесит вдоль притихшей толпы большой стеклянный сервиз.

Кровавая битва сущего с несущим!

Брось... у вас ведь есть такой — я помню! Вы не достаете его почти никогда, но однажды Нэлли принесла себе и мне чай в стеклянных кружках, и у меня правда было впечатление исключительности этого момента, и какой-то особенный звон стоял рядом с нами, а не вокруг нас. Я тогда понимал, что ничего не добьюсь — ни в каком из смыслов, и мне стало на душе так же легко, как за несколько лет до этого, когда я впервые это почувствовал — что ничего не добьюсь и что мне нечем и не за что ответить. Я тогда был один в помещении, а теперь рядом со мной была Нэлли — и молчала в тупике какого-то очевидного вопроса. Какое это счастье — не обладать ничем! Даже голос, как было правильно подмечено, уполномочен, не дрогнув, выдавать человека.

Если бы не появление Артура, я бы отделился от вас обоих очень скоро. Шел бы и шел по известной дороге — мимо дома и поворачивающегося вслед мне, как плоская картинка, парка. Позади меня завелся негромкий циклический (от слова «цик») процесс, состоявший из распадающихся и как бы в последний момент собранных согласных подобно стрекочущих струнок и одного сплошного шипящего, как теплая газировка, звука — и вперед выехал новенький велосипедист.

Что вас остановило? Восприняли буквально какую-нибудь надпись на стене?

Какой-нибудь поворот или перекрытая дорога — отсутствие инерции или некий дорожный знак. Дорожный рабочий делал руками гребные жесты — как гражданский островитянин, однако чуть позднее обнаружился второй, внимательно следящий, ему и адресовалось. Над оцепленной сценой восставал экскаватор. Я прошел какой-то хрупкой, чудесной тропинкой во двор, где был замедлен (вечерело) застенчивыми молодыми людьми, которые шли вдоль моей дороги, которая вот-вот должна был закончиться рыхлой стеной, но кто-то сказал: «Это не он». Я был оставлен в одиночестве — как будто и другие люди на улице так же перестали существовать рядом со мной и моей обидой. Утешение нашлось только в мелкой кофейне, о которой я вспомнил благодаря вдруг проступившим крупным чертам городского лица — достопримечательным памятникам, славящих материал, из которого созданы. Внезапно изменилось положение вещей — я возвращен себе самому без видимого ущерба, пил кофе с черничным пирогом, как раньше и как после — хоть на воображаемой фотографии. Тогда дверь — знакомая стеклянная дверь — впустила их обоих сразу, и Нэлли, и Артура.

Мы изначально знали, где тебя найти, но не были уверены, что ты хочешь быть найденным. Нэлли настояла на этом, и я тоже был не против. Сейчас, один на один с тобой (Манус ушел пролить порцию слез), я могу тебе сказать честно, что так и убивают таковых, так заводится яд в пироге. На то и

рассчитано: почему, ты думаешь, нам было позволено говорить — на фоне всеобщего молчания? Просто-напросто известно — и ты лучше других знаешь это — что мы говорим об одном и том же, задеваем одни и те же рычаги, которые давно уже срабатывают автоматически — при нашем появлении, но на самом деле это мы появляемся при них в момент, когда они срабатывают. В сто-роковой раз выяснится, что заученная и обсужденная нами деталь — и есть наша вина, и кто поспорит с этим тогда? Спорить с виной будет значить спорить с деталью, отказываться от улики, что настолько же возможно, насколько возможен отказ от первого лица.

В то же время всякое возвращение объяснено тем, что никогда оно не то, чем должно было быть. Ошибочно все — от звука шагов до дверного скрипа, и разбужены оказываются все, вплоть до полицейской сирены. И даже этот разбуженный мир обращен к иному — солнцу в его простоте. К слову, описанное вами напоминает мне смех над привычками стариков, не желающих пользоваться запоминающими устройствами и при этом помещенных в полностью состоящий из памяти мир, так что даже провал мгновенно заполняется чем-то еще — как при выключении электричества включаются генераторы напряжения. Но и это — только освещение сцены, сговор саспенса с прокрастинацией. То, что произойдет, будет вырубкой света, и ничем больше.

Напоминаете мне моего материалистического друга — в разговоре о смерти он склонен впасть в незаурядные суеверия: то экран выключат, то трава вырастет. Между тем мысль — не жизнь, это было отмечено сто раз. Мысль почти настолько же далека от жизни, насколько жизнь — от мысли. Вам на самом деле ничего не стоит продлевать свою мысль за пределы этой «вырубки», как говорят дровосеки: ведь и этот провал должен будет заполниться — незаметно для всех, для вас — в первую очередь. Не вы ли говорили о том, что жизнь подобна коридору, где люди — ряд поочередно зажигающихся и гаснущих ламп...

Только это продление — и есть та самая прокрастинация, отдаление того момента, когда я уже не смогу сказать ничего о том, что вокруг меня.

Начинайте уже сейчас. Вы меня обвиняли в том, что я всюду вытягиваю себя, но и вы — что, кроме себя, вы можете гарантировать в презентованном вами мире? Вы из тех лекторов, которые ждут, что будет зубрежка, что уж вас-то можно ожидать на экзамене в полном объеме, но я, кажется, столкнулся с той самой проблемой, о которой уже шла речь: перешагнуть через вас для меня невозможно, заученное вас не устраивает. Значит ли это, что я плохо заучил? Открою вам секрет — в седьмой раз я списывал, у меня была шпаргалка, я лил вам в уши вашу собственную мысль, и вам все было мало. Вам казалось, что я упускаю нечто, что, может быть, вам самим не очень ясно — или не очень лестно?

Может быть, я знал о том, что вы списывали? Не приходило в голову? Сухое повторение — думаете, этого я жду от студента? Спросите Артура, как он сдавал — расскажите, Артур.

Но, Манус, вы поставили мне автоматом.

Да, конечно... боюсь, вы были не узнаны. Слишком поздно мои лекции — не видно лиц. Что ж, мы объяснили некоторое хамство Артура, проскальзывающее тут и там. Что ж, Макс, если угодно, ты — исключение. Исключительная личность, о которой мне хотелось узнать максимум возможного — таков простецкий сюжет наших академических скитаний из аудитории в аудиторию, когда закрывались двери. Просто однажды, когда закрылась последняя дверь, тебе было предложено перекочевать ко мне домой и продолжить экзамен там. Здесь, собственно. Если тебе удобно так думать, то экзамен продолжается до сих пор, и Нэлли исчезла как отвлекавший элемент. На очереди — Артур: ему будет исчезнуть проще, он, как ты сказал, материалист. Только тебе захотелось говорить о посторонних вещах — полагаю, в надежде обойти краеугольные камни моей философии. Но, как уже успел сказать Артур (которому я бы за одно это поставил удов-

летворительную оценку), блуждание устроено так, что точки назначения неизбежны. У непослушных умных птиц есть свои клетки.

Он говорил об этом совсем другими словами.

Все равно — это одна и та же мысль, она, в виде исключения, имеет отношение к жизни. Помимо прочего, жизни достигает только нечто исключительное — отсюда и точность, и невнятность подступающего.

И подступившего. Вплотную оно ничуть не более выразительно — никакого выражения. Вернее даже, что это я не нахожу ему выражения, когда оно минует — а оно минует всегда, до тех пор, пока я сам не миную, пощадив чью-нибудь жизнь. Понимаю, что это может быть только моя жизнь, пусть увиденная косо и осужденная, но осудивший вынужден будет признать ее моей, закрепив за мной статус обладателя. Так вплотную мы оба близимся к одной точке — тому, чем жизнь явилась именно сейчас, а не тогда, когда она шла, подобно крови, в мир больший или меньший. Ни того, ни другого нельзя наполнить, но можно наполнить смыслом простое слово «кровь» — как пять оживающих пальцев. По-английски точное знание передается в том числе с помощью речевого оборота о тыльной стороне ладони — знать так же, но как быть с тем, что зажато в руке? Задним умом все сильны. А стоит поймать с поличным — рука оказывается пуста наравне с карманом. Может быть, все-таки во рту — тайна? Но и там, как мы видим, — только удостоверение молчаливой личности, дентальные нюансы.

Артур, если бы он был с нами, мог бы сказать, что эти нюансы имеют в индивидуальном плане куда большее значение, чем все, вылетающее изо рта во время жизни. Когда кажется, что никто еще не спасался от обобщения в смерти, последним улыбается пломбовый апломб черепа. И вширь, и в длину — да так долго, что спросишь: улыбается ли кто-нибудь еще в мире? Но у меня вот, например, съемная челюсть...

Опять вы моделируете чужую реплику и отвечаете блестяще. О, диалог с вечностью! Я так тоже могу делать.

Вы уже показали свое умение подражать. Если бы я был тебе вместо отца (как ты однажды сказал мне — в порыве сентиментальности или отчаяния), то Нэлли ты был бы вместо мужа — не мужем, а муже-заменителем. Зря думаешь, что это свежая мысль — Нэлли сама признавалась мне в этом.

Полагаю, что это было сказано в присутствии известного нам отбывшего свидетеля. Прошу заметить, что это вы исполняли только что его роль, а не я. Я же впервые с момента нашего с ним знакомства чувствую себя свободным от его влияния. И — сколько ошибок я допустил, стремясь брать с него пример! Примерностью я обладал, но и он, как я сейчас понимаю, также был примерен — в этом смысле мы шли бок о бок, как два киношных автомобиля, но каждый из нас обладал и точностью. Как вы правильно отметили, точность разводила нас по углам, и это автоматически оставляло Нэлли в одиночестве и полной подверженности огневодам. Появление же нас обоих наделяло ее определенностью, в то время как любой из нас не дал бы ничего, кроме своих ожиданий. Поняв это только теперь, я давал ей ощущение собственной непогрешимости — что было обратной стороной вины. При этом нет никакой причины полагать, что обратная сторона более или менее верна, чем сторона лицезвая.

Нельзя и утверждать, что они равнозначны. Профиль может быть стерт, монета может оказаться редкой. Мало ли что может произойти с тем, чего мы не видим. В особенности это касается, конечно, меня. В длинной моей молодости растущие дети знакомых казались мне появляющимися из теней мстителями — так быстро и внезапно

они приобретали неповторимые генетические черты — черты гения, я хочу сказать. Одного и того же ходока, которому надлежит завидовать. Это же касалось и женщин — мне казалось, что один и тот же женский образ пытается сказать мне что-то в разных облициях и не может из-за того, что пребывает всегда в состоянии амнезии (Альцгеймер поразил и метафорическую материю). Больше того — будто бы и от меня требуется та же амнезия... но под ней — неведение: как решить задачу и кто ее решил, пока химик видел во сне жену? В аудитории тихо, как во время лекции (аншлаг стульев), тряпка пахнет мочевиной...

Но ваша вина — другая! Вы забыли буквальное значение слов и событий. Но кто знает, может быть, амнезия — это амнистия. Если некто настолько одинок, что любое совершенное им преступление оказывается совершено без свидетелей, то проблема решена за нас. В лицо нас, оказывается, никто не знает. Только жаль, что некому сказать о любви — «я люблю тебя» и подобное. А впрочем, отпустите к ней. Если любовь и смерть изначальны, то пусть у нас родится мертвая влюбленная девочка.

Признание в любви было получено под пыткой. Алиби обеспечено хотя бы тем, что возвращение приводит в другое место. Но «Я люблю тебя» — это цитата. Имейте уважение к источникам. Двух гениев быть не может, а одного не миновать, как не миновать и самого одиночества. Совсем некому это сказать — такая мысль вынуждена блестеть в неведении, как простая слюна. Если смерть есть, то — что? Требуется сказуемое... однако учитель языка ушел к Нэлли и не подтвердит — может быть, и не нужно сказуемого.